Светлана Замлелова

ПОСАДСКИЕ СКАЗКИ

Москва
«Ваш полиграфический партнёр»
2012

УДК 398.2
ББК 84(2Рос=Рус)
З-26

Замлелова С. Г.
З-26 Посадские сказки. – М.: Ваш полиграфический партнёр, 2012. – 128 с.

ISBN 978-5-4253-0354-7

Светлана Замлелова – прозаик, публицист, критик, переводчик. Родилась в Алма-Ате, окончила Российский Государственный Гуманитарный Университет. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Член-корреспондент Петровской Академии Наук и Искусств.

Новая книга Светланы Замлеловой – это настоящая феерия образов и калейдоскоп событий. Элементы детектива, мистики и фарса образуют, переплетаясь, яркую повествовательную ткань. Действие разворачивается на стогнах некоего городка – посада. В книге нет чётких указаний на место и время описываемых событий. Тем не менее, совершенно очевидно, что героями фантастического повествования стали наши современники – так узнаваемы и понятны эти образы.

УДК 398.2
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4253-0354-7 © ***Замлелова С. Г., 2012***

ПОСАДСКИЕ СКАЗКИ

Кругом обители Пресвятыя и Живоначальныя Троицы не то, чтобы раскинулся, а как-то уж скорее расползся одноименный монастырю городишко. Сущее недоразумение! Славная обитель куда как более походила на город: из храмов с раннего утра доносится молитвенное пение, из пекарен — дух свежего хлеба, а найдётся ли такой человек, кто оставался бы равнодушным к запаху свежего хлеба?.. Паломники, пёстрой, разноязыкой толпой притекающие каждое утро к монастырским вратам, числом, если не превосходят, то уж, во всяком случае, не уступают городскому населению.

Точно круги по воде, разошлись слободы мастерового и торгового люда от стен Троицкой обители. По оврагам и косогорам, шибелистыми улицами и похожими на извивающихся змей переулками, разлезся городишко, окружив обитель одноэтажными деревянными домишками, сараями, до недавнего времени крывшимися соломой, и лавками, торговавшими резными игрушками, иконами и харчевым товаром.

Справедливости ради надо сказать, что пришлый люд стекался не только к монастырю, но трижды в году — на ярмарку, устраиваемую обыкновенно после Пасхи, к Троицыну дню и на Успение.

Должно быть, заезжие людишки и были всегда причиной городской безалаберности и бестолковости. А равно и тех небывалых событий, что происходили время от времени в городе, поражая воображение как самих горожан, так и чужаков; вдруг подчиняя всё единому помыслу, единому чаянию, одной-единственной заботе.

Как обитель славилась чудесами, так маленький, неказистый городишко, похожий на тщедушного мужичонка — что не прочь

и выпить, и выместить горечь своих неудач на домашних — славился издавна, точно в противоположность святому месту, странными происшествиями. Происходившее на его стогнах было большей частью так необычно, что, обрастая слухами, становилось вскоре известно за пределами города. И, будучи неоднократно повторённым, теряло, в конце концов, связь свою с местом и даже, напротив, приписывалось другим краям. Трудно настаивать, что произошедшее в одном каком-нибудь городе не могло в то же самое время произойти в другом. И что если писатель берётся описывать некое чудо, то уж непременно заимствует его, приноравливая к нужному времени и месту. А происшествия, о которых пойдёт речь, действительно, не раз встречались на страницах газет и журналов, преподносимые то как достоверные события, то как писательская фантазия. Да вот хотя бы... Впрочем, читатель и сам всё поймёт. Но так или иначе, городишко, жители которого узнавали себя в повестях и хрониках, никогда отчего-то не упоминался как место происшествия. Всё то необыкновенное, что случалось в городе,

передавалось изустно. И горожанам по сей день, например, памятна

Сказка о трёх сундуках.

Дом Хохтевых — купцов — лучшим был не то, что в Служней слободе, а и во всём посаде. Нигде вы не встретили бы такой просторной усадьбы с цветниками, разбитыми перед домом и в пору цветения принуждающими прохожих останавливаться в восторге перед благолепием и благоуханием. А сад назади дома с прудом и карасями в нём?.. Разве только монастырский сад мог бы посоперничать с садом Хохтевых обилием плодов по осени. Яблок бывало собирали столько, что уж решительно не знали, что с ними и делать. Одного варенья варили нескольких видов. Яблоки и мочили, и солили, и свозили на Успенскую ярмарку, и даже выставляли на улицу в огромной под ржавыми обручами бочке, чтобы всякий, кто не имел собственного сада, мог бы

отведать и унести с собой. Прослышав о том, приходили из Кокуевой слободы старухи, пробавлявшиеся кое-как лепкой из глины мелких игрушек, а то и просто нищенством. Хватали яблоки и мальчишки, проносившиеся мимо по каким-то своим невозможным делам.

— Христом Богом... По яблочку... — бормотала такая старуха, склонившись над бочкой, выбирая узловатыми пальцами сморщенной трясущейся руки пахучие жёсткие яблоки и препровождая их в какое-нибудь хлипкое, наполовину расплетшееся лукошко.

Нашёлся же и такой человек, кого бочка под ржавыми обручами заинтересовала гораздо больше её содержимого. И наутро невозможно было проехать по Дворянской улице — запряжённые телегами лошади останавливались среди красных, зелёных и жёлтых яблок, недоумённо косились и, подёргивая верхней губой, принимались хрустеть. Остановилась случаем одна телега, за ней — другая, перед ней — третья... И вскоре возницам под уздцы пришлось разводить оторопелых своих кляч.

А именно в то время, когда созревают в садах яблоки, городские улицы напоминали обыкновенно корыто, наполненное жидкой грязью, что в засушливую пору имела вид серой пыли, взвивавшейся столбом за каждым колесом или, точно свора собак, устремлявшейся за галопирующим всадником.

Деревянный дом Хохтевых украшался с фасада четырьмя колоннами и широким крыльцом, на каждой ступени которого можно было бы разместить на ночлег по одной нищей старухе. Не то, что дом, а и оба флигеля с сараем Хохтевской усадьбы были крыты железом. Да что там сараи, когда говорили, будто только наймов за помещения лавок и двух трактиров, принадлежавших монастырю, платил Досифей Тимофеевич Хохтев до десяти тысяч рублей в год! В то время, как, например, Модест Шокотов, сторож Вознесенской церкви, что напротив одного из Хохтевских трактиров, в год получал жалования семьдесят рублей, содержа при том больную ногами супругу и старую, но весьма ещё бодрую тёщу, никогда не отличавшуюся благонравием.

И глядя на купца Хохтева, не один только Шокотов впадал в соблазн, вздыхая и вопрошая: «Отчего это всё так на свете устроено: одни всё от судьбы получают, а другие...» Тут вопрошающий оглядывался мысленно на своё убогое жилище, нанимаемое им за рубль где-нибудь в Кокуевской слободе, на чахлую жену и вздорную тёщу, и невольно вспоминалась ему четырёхстолпная усадьба Хохтевых с цветами да яблоками; лавки, набитые тканями; два трактира и жена, красивее которой не помнили старожилы посада. Звали купчиху Христиной, и при одном только взгляде на неё останавливались прохожие и долго смотрели ей вслед со смешанным чувством восторга, тоски и зависти.

Что толку описывать чёрные глаза, толстую косу, обвивающую изящную головку, тонкое переносье и кожу, которую хотелось потрогать! Не из черт, пусть даже милых, складывалась красота Христины. Какой-то внутренний свет озарял весь её облик: играл в глазах, в улыбку складывал губы, пробегал по щекам, оставляя розовый след, и, запутавшись в волосах, сиянием одаривал короной уложенные косы. Не только в Служних

слободах знали о красоте Христины. Отправлялась ли она в церковь или в монастырь, поклониться мощам святых угодников, или на Вознесенскую площадь поторговаться насчёт галантерейного и парфюмерного товара, извозчики не кричали ей, по своему обыкновению: «Эй, тётенька! Со мной недорого и спокойно!» Но приветливо кланялись со словами: «Христина Дмитриевна! Не желаете ли проехаться — чего зря ножки сбивать!» На что Христина лишь улыбалась и, сопровождаемая какой-нибудь наперсницей из живших в доме девушек или кухаркой Меланьей, шла дальше. И не было человека, не соблазнившегося о красоте Христины. Так даже, что и встречные монахи нет-нет да и скашивали глаза в её сторону. После чего крестились, мотали головами, точно силясь отогнать наваждение, и бормотали чуть слышно: «Огради мя, Господи...»

Большую торговлю вели Хохтевы. На Монастырской площади торговали овсом, зерновым хлебом и лесом. В лавках, точно каменные бабы, громоздились свёртыши льна, шёлка и бумажной материи, а от разноцветья пуговиц, ниток и тесьмы рябило в

глазах. В трактирах гудели самовары, калачи пахли зазывно. Товар Досифей Тимофеевич выбирал лично, с чем и ездил по ярмаркам.

Случилось раз Хохтеву уехать в Персию. За какой надобностью отправился купец к басурманам теперь уже не установить. Должно быть, ездил за тканями, потому что персидские огурцы на шёлке изрядно пестрели в его лавке. Предание донесло лишь доподлинную весть о том, что, уезжая, обратился Досифей Тимофеевич к ненаглядной своей супруге:

— Ты, Христинушка-мамушка, коли будет у тебя в чём нужда, пошли к Моисееву Фролу — купцу, что торгует в Гостиных рядах. Он должник наш, вот пускай через то долг отдаёт. А ежели кто... — не приведи Господь! — и здесь купец широко перекрестился, обернувшись к образу Спаса Всевидящее Око. — Ежели кто обидит тебя — ступай к ратману Алфею Хвастунову. Он защитит.

А дальше прибавил слова, что обычно говорил, отправляясь из дому и оставляя супругу одну:

— Живи без меня весело, но честь мою береги и ложа моего не скверни.

Сказал и купцу Моисееву:

— Ежели пришлёт к тебе без меня жена моя за долгом, отдай, как бы мне отдал.

С тем и уехал. Осталась одна Христина. А чтобы не лить по мужу слёз, погибельных для красоты, чтобы не подпускать тоску, кусающую за самое сердце, стала собирать у себя Христина подруг — девушек и молодиц. Стала устраивать во флигелях обеды, созывая бедных игрушечниц из Кокуевой слободы.

Ах, эти обеды!.. Долго судачили о них игрушечницы и торговки. А сусальщик Тимофей Елов, случившийся по делам в Москве, слышал у моста на Трубной площади, как какая-то странница рассказывала толпе обступивших её баб и девушек с корзинками цветов:

— ... И стала она звать к себе подруг, которые по купечеству. А подруги-то все, милые девушки, как сговорились! Которая говорит — на ярманку поеду; которая — недосуг, мол, мне. Тогда созвала она верных служанок и велит им: «Ступайте, говорит, мои верные служанки на все четыре стороны, а как придёте на распутья, зовите ко мне

всех, кого повстречаете». Побежали верные служанки на распутья и созвали всех странных людей. Собрались странные люди к той купчихе, вышла она на порог, поклонилась им в пояс и говорит: «Приидите, говорит, странные, приидите, убогие». Сейчас принесли верные служанки воды и ширинку, и стала она сирым да убогим омывать ноги и ширинкой отирать...

Тут одна из девушек с длинной русой косой громко всхлипнула. А кто-то из баб заметил:

— Скажи-ка!..

— И вот, милые девушки, — продолжала странница, — повела она их на трапезу. Идёт вперёд, а они все за нею следом. А она, даром, что купчиха, платье носит простое, залатанное, под платьем — власяницу. И никаких тебе украшений — только добродетелями украшается! И собой-то красавица: во лбу светел месяц, в затылке часты звёзды. И пришли они, милые девушки, на трапезу. А там — столы ломятся, ножки трещат. Осетры лежат, хвостами бьют, их с хвостов режут, а они головы воротят — глядят...

— Да как же?.. — удивлённо пискнул кто-то из толпы, оживившись при упоминании о чудесных осетрах.

— Да то ведь не простые осетры, милые девушки, — пояснила странница, — тех осетров для троицких монахов возят. Вот и выходит, что все осетры обыкновенные, а троицкие — сокровенные...

Тут, правда, Тимофей Елов сплюнул и, прибавив что-то вроде: «Завралась ты совсем, убогая», отошёл прочь от сказительницы.

Конечно, странницам верить нельзя. Странницы всегда врут. Но, однако, возвращаясь как-то с базара, зашла Христина в Гостиный двор и, поклонившись, спросила у купца Моисеева наличных денег:

— Мне бы, Фрол Савельич, сто рублей с Вас получить...

Купец Моисеев глядел орлом, носил аккуратную бородку и закрученные кверху усы. Большие пальцы держал он обыкновенно в жилетных карманах, а говорил с посетителями из посадских обывателей и забредавших изредка в лавку богомольцев, щегольски растягивая слова. Впечатление

на низкие сословия производил он самое внушительное. Когда в лавку к нему вошла Христина, с которой прежде купцу не доводилось говорить самолично, он было собрался принять независимый вид и с вежливостью и достоинством, на какие только был способен, поинтересоваться: «Чем могу услужить!» Но пальцы его сами собой вывалились из жилетных карманов, и в ту же секунду показалось ему, будто в лавке сделалось светлее, ситцы вдруг стали ярче, а пуговицы звонче. И вот смотрит он на жену своего благодетеля, а видит лишь, как между красных влажных губ, сложившихся в улыбку, блестят белые зубы; а в голове одна-единственная мыслишка ворочается: «А ведь Христина-то Дмитриевна... одна дома... покудова».

— Что же вы, Фрол Савельич, молчите? — улыбалась Христина. — Мне Досифей Тимофеевич к вам наказывал за деньгами послать.

— Да-с... да-с, — забормотал Фрол Савельич, — самолично, Христина Дмитриевна, самолично к вам заеду и завезу... Вот в третьем часу сегодня и завезу... Не извольте беспокоиться...

Лишь только со скрежетом, стонами и кряхтением отбили в столовой напольные часы три удара, как зазвонил колокольчик у дверей дома Хохтевых. Меланья, кухарка, впустила купца Моисеева. Вышла встретить гостя Христина, улыбаясь по всегдашнему своему обыкновению.

— Я велю сейчас чаю подать, — сказала она, провожая гостя в столовую, — и закусок.

— Не надо... чаю, — глухо отозвался купец.

В столовой часы стучали со тщанием. С улицы доносилась брань не сумевших разъехаться извозчиков.

— Как же Вы мою просьбу?.. — указала Христина на кресло.

— Христина Дмитриевна, — горячо вдруг зашептал Моисеев, хватая Христину за руку. — Христина Дмитриевна, не только сто рублей, но и... сто пятьдесят!

И вместо того, чтобы опуститься в кресло, купец повалился на колени.

— Христина Дмитриевна... не гоните... люблю... люблю вас... — захлёбывался Фрол Савельевич, целуя и удерживая руку,

которую Христина силилась у него вырвать. — Не гоните... будьте моей... Скажете, я с ума... пусть так... Но будьте моей! На день... на час...

Испугавшаяся и растерявшаяся в первую секунду Христина, опомнилась и уж хотела кричать, чтобы сбежавшиеся слуги вытолкали за ворота купца Моисеева. Но глядя на Фрола Савельича, которого странная сила бросила на пол, скрутив и обезобразив, Христина развеселилась. Ей вдруг захотелось проучить купца. И будучи нрава лёгкого и беспечного, во всём всегда отыскивая весёлое, и всё обращая в смех, она тут же придумала, как лучше это сделать.

— Вы, Фрол Савельич, потише, — понизив голос, сказала она притихшему вдруг купцу Моисееву, на которого голос Христины подействовал отрезвляюще, — не ровён час — сбегутся. А вы вот что... Завтра в полдень... приносите свои... сто пятьдесят рублей.

Едва ушёл Моисеев, Христина, набросив на плечи белую шаль, побежала к отцу Македону, своему духовнику, жившему на той же Дворянской улице. Служил и настоятельствовал отец Македон в Архангельской

церкви, что на Красюковке. Родом был батюшка из Малороссии, сохранял хохлацкие привычки и вкусы, отчего к столу у него подавались нередко вареники, и всегда стояло нарезанное сальце. Старшего сына своего — Богдана — готовил отец Македон по духовной части, для чего отправил его учиться в Киев, вызвав, само собой, удивление и насмешки посадских людей. И о Богдане Шипуле стали говорить, что он де за три моря бежит за тем, что дома лежит. А иные, усмехаясь, прибавляли: «Дураки да бешены не все перевешаны».

В ту пору, о которой идёт речь, Богдан Македонович прибыл в отчий дом. Кажется, на вакации. Дома был он ласкаем и потчуем беспрестанно, время проводил в неге и всевозможных удовольствиях. Учился попович — Бог его знает — где-то в Киеве, не то в бурсе, не то ещё в каком заведении, но только стал он совершенным хохлом, а изъясняться предпочитал теперь на малороссийском наречии. Бурса ли, Киев, а, может, длительное пребывание вдали от отца с матерью развратили поповича совершенно. И когда торговки или игрушечницы

заводили о нём на площади разговор, то непременно заговорщицки переглядывались и хихикали. Росту попович был богатырского, говорил голосом низким и таким зычным, что, казалось, все мелкие предметы вокруг дрожали и подпрыгивали.

И когда Христина вошла в полутёмную прихожую отца Македона, первое, что услышал она, были громом прозвучавшие откуда-то из недр дома, слова:

— ... Чи хочь воды тут напытыся дадуть?..

А в следующее мгновение Богдан Македонович появился в прихожей, держа в руках высокую глиняную кружку и довольно громко прихлёбывая из неё. Завидев Христину, он изобразил на лице своём удовольствие и остановился прямо напротив гостьи.

— Що ж ты, до мене? Ягидко? — спросил он у Христины.

Христина, никак не ожидавшая, что в доме духовника её ждёт такой игривый приём, в недоумении отвечала, с любопытством оглядывая поповича:

— Я... я к отцу Македону...

— Эта... к батюшке, — прошамкала Митрофановна, бойкая старуха, жившая в доме

отца Македона и доводившаяся ему какой-то дальней роднёй. Митрофановна сама отворяла Христине и привела затем Богдана Македоновича.

— Нету... нету батюшки, — обратилась она к Христине.

И тыча скрюченным пальцем в Богдана Македоновича, прибавила зачем-то:

— Вот. Они есть.

— Ну! Стара! — скомандовал попович и мотнул головой, делая старухе знак, чтобы убиралась.

Митрофановна, ковыляя, убежала.

— Когда же вернётся отец Македон? — робея отчего-то, спросила Христина.

— Ах ты ж! Яка непонятлива! — притворно заахал Богдан Македонович, утирая губы рукавом старого побуревшего подрясника. — Ну, ходы ж сюды, зиронька! На вушко скажу...

И, пристроив на какую-то не то табуретку, не то тумбу, оказавшуюся под рукой, свою кружку, попович шагнул к Христине. Христина отступила на шаг.

— Яка ж гарна — умру! Яки ж очи... Якой поволокой взялись... Таки очи бувають

тилькы у закоханых... — понизив голос, сказал Богдан Македонович и ещё приступил к Христине.

Христина, слушавшая, точно заворожённая, полупонятные для неё слова, отступила ещё на шаг.

— Закохана, це ж ясно! Але в кого?.. Чи не за мною вмираеш, рыбонько? — зашептал попович, и Христина ощутила на своём лице его сивушное дыхание. В то же самое время спиной она почувствовала стену.

— Ах ты ж.., — хрипло и чуть слышно проговорил попович, наклоняясь к лицу Христины.

«Ах, ты ж...», — подумала Христина, отталкивая поповича.

— Завтра, — зашептала она, — буду ждать тебя завтра. В три... Придёшь? Нет... в час.

— А не брешешь? — в голос переспросил Богдан Македонович.

— Завтра в час, — уже в дверях повторила Христина.

До ратуши, помещавшейся в здании бывшей богадельни, добралась Христина на извозчике. Какой-то прыщавый чиновник, скрежетавший пером, в одиночестве являл

собою всё присутствие. Услышав имя ратмана Хвастунова, он задумался, закусив кончик пера. Потом извлёк из ящика стола клочок серой бумаги, написал на нём несколько слов и, рявкнув внезапно: «Васька!», передал клочок явившемуся на зов мальчишке и повелел нести записку Алфею Харалампиевичу. Мальчишка убежал, а чиновник, пробормотав, что «сейчас придёт Хвастунов, он тут, недалече», заскрежетал пером с новой силой и прежним усердием. Христина, расположившаяся на плетёном стуле — лучшем предмете меблировки присутственного места — принялась тем временем осматриваться. Обстановка вокруг была скверной: оконные стёкла не мылись с того самого дня, как оказались в рамах. В углу стоял истрёпанный веник, а рядом, точно необходимый предмет, покоился сметённый в кучку сор. Государев портрет, писанный, верно, каким-нибудь местным художником-самоучкой, украшал одну из стен. Рядом с портретом помещалась литография, изображавшая посещение преподобного Сергия медведем. Внимание Христины притянул кусок хлеба, ради которого и состоялось

посещение, и который медведь длинным языком старался препроводить с пня в собственную пасть. Преподобный взирал на эту сцену безучастно, словно думая о чём-то ином и ничуть не удивляясь диковинному поведению зверя.

За разглядыванием литографии застал Христину появившийся вдруг Алфей Хвастунов, недовольный вызовом и убеждённый в его пустячности.

Узнав, что просительница Христина и что явилась она с жалобой, Хвастунов прошёл в соседнее помещение, поменьше и почище. И, усадив Христину на чёрный кожаный диван, изрядно, впрочем, потёртый, сам присел напротив за стол и предложил посетительнице изложить своё дело.

И Христина, подумав о том, что Алфей Хараламиевич Хвастунов похож на налима — такой он был скользкий, так сложно было поймать его взгляд и понять, что именно выражает он в эту секунду, так неопределённы и невыразительны были черты его лица, — принялась рассказывать о возникшей нехватке наличных денег и о бесстыдстве купца Моисеева, не упуская

подробностей и упирая на вероломство Фрола Савельевича.

Чем дальше рассказывала Христина, тем более заинтересованным казался Хвастунов, тем с большим вниманием прислушивался он к словам рассказчицы. А когда Христина обрисовала падение на колени и предложение ей купцом денег, ратман даже привскочил и прошёлся по комнате. Христина уж было хотела поведать и о том, как собралась она проучить купца Моисеева, но Хвастунов вдруг сказал:

— Это дело тако-ое! В полицию бы надо... Да ведь огласка...

— Досифей Тимофеевич... — начала Христина, но Хвастунов перебил её.

— Досифей Тимофеевич — оно, конечно, — человек уважаемый... Степенный человек... Благодарный человек... Умеет в положение войти. Должностишка-то у меня — что? Выборная должностишка, жалованья не положено. Писарям вон и тем положено, — и ратман кивнул в ту сторону, где скрипел пером старательный чиновник, встретивший Христину. — А бургомистру и помощникам — ни-ни!.. Досифей

Тимофеевич — человек благодарный. Тут примерно такое дело...

— Да ведь я заплачу! — догадалась Христина.

— Оно, конечно, хорошо, — отозвался Хвастунов, скользя взглядом от шеи Христины к плечу. — Это дело тако-ое. Только... Кхе-кхе... Что деньги холостому человеку?

— Так чего же вы хотите? — удивилась Христина. — Вот у нас давеча кошка окотилась, не хотите ли разве котятами взять?

Алфей Харалампиевич закашлялся, разглядывая тонкое, стянутое золотой кручёной браслеткой левое запястье Христины.

— Котята — это дело тако-ое, — протянул он. — Ежели там мышей ловить или для дамского какого развлечения — так котята очень даже полезные... Но одинокому человеку котята... вроде бы примерно... не знаешь, к чему их и применить... Деньги — оно, конечно... Да ведь бывает — и сам не поскупишься, даже и двести рублей... А Досифей Тимофеевич — человек благородный... Как не помочь?..

— Оно, конечно, — отозвалась Христина. — Это дело такое. Только... Не могли

бы вы завтра заехать ко мне к двум часам? И насчёт двухсот рублей... После поговорим. Завтра...

— К двум часам? — насторожился отчего-то Хвастунов.

— Я вас ждать стану, Алфей Харалампиевич. И насчёт двухсот рублей, что давеча говорили...

аскрипели, застонали часы в столовой Хохтевых и нехотя, точно старик, недовольный, что обеспокоили его, отбили двенадцать ударов. В следующее мгновение зазвенел резво колокольчик, и Меланья, предупреждённая Христиной, впустила купца Моисеева, заметно взволнованного и поминутно что-то ищущего вокруг себя глазами. Вышедшей навстречу Христине купец облобызал с жадностью руку, и Христина поморщилась: и пальцы, и губы купца были влажными.

Они прошли в столовую, где был накрыт стол, но Фрол Савельевич, шедший следом за Христиной, вдруг наклонился к самому её уху и зашептал горячо:

— Горькими покажутся мне все эти кушанья... все сладости земные перед грядущими наслаждениями... Мог ли и мечтать я прежде?..

Христина вздрогнула, но прежней неприязни уже не испытала. Ей было смешно и немного страшно, вместе с тем она поймала себя на мысли, что ей нравится слушать купца и хочется, чтобы он говорил ещё. Но она испугалась этой грёзы и стала гнать её от себя. Обернувшись к купцу, она снова вздрогнула: он смотрел на неё чёрными от расширившихся зрачков глазами. Взгляд его — остановившийся, немигающий — волновал и пугал Христину. Казалось, этот взгляд околдовывает её, ещё немного, и она, утратив волю, станет послушно делать то, что повелит ей этот колдун. Христина опустила глаза и сказала тихо:

— Вон там за дверью — лестница. Ступайте по ней наверх. Она приведёт вас в мою комнату. Ждите меня там. Слышите?

Купец Моисеев припал влажными губами к руке Христины, а в следующую секунду решительным шагом направился к двери у противоположной стены, где скрывалась

та самая лестница, которой суждено было привести купца к сладчайшему, незабываемому мигу. Христина, услышав из-за притворённой Фролом Савельевичем двери торопливые звуки шагов и короткий грохот, подсказавший, что купец Моисеев впопыхах оступился, прыснула со смеху, прикрыв рот ладонями крест-накрест.

Оставшись в столовой одна, Христина налила себе чаю. Без четверти час она поднялась по скрытой лестнице наверх, где было душно и сумеречно из-за опущенных штор. На широкой Христининой кровати сидел в исподнем купец Моисеев и шевелил, точно рак клешнями, пальцами ног. При виде Христины он вскочил и даже как будто захотел броситься навстречу вошедшей, но переменил решение и, забравшись вместо этого на постель с ногами, подтянул к подбородку край одеяла.

— Стал терять надежду, — зашептал он так же горячо, как в столовой. — Сказал себе, что и не могло быть такого, что по гордости, бесом внушённой, возмечтал о невозможном. И, быть может, даже неправильно понял тебя... вас... тебя. Приди же ко мне, царица!

Фрол Савельевич, удерживая левой рукой одеяло, протянул правую к Христине, задержавшейся у большого зеркала в резной тёмного дерева раме и поправлявшей на затылке причёску. Христина повернулась к Моисееву, улыбнулась, и в это самое время снизу донёсся приглушённый звук колокольчика.

Купец Моисеев так и застыл с вытянутой вперёд рукой. Но голос Меланьи, прокричавшей вдруг: «Досифей Тимофеич приехамши!», — вывел купца из оцепенения. Он соскочил на пол и, босой, заметался по комнате, беспорядочно хватая всё, что попадалось под руку — свой ли жилет, шаль Христины — то прижимая к себе, то роняя, то бросаясь за новым предметом.

— Бросьте вы ваши вещи, — шептала Христина, — да бросьте же! Я сама спрячу... Сюда!.. Да подите же вы сюда!

Схватив Моисеева за руку, она почти силой подтащила его к стене, вдоль которой стояли огромные расписные сундуки. Откинув крышку одного из них, оказавшегося наполовину пустым, Христина повернулась к купцу:

— Полезайте! — зашептала она. — Полезайте, Фрол Савельевич, не мешкайте! Я вас потом выпущу.

Фрол Савельевич, у которого после Меланьининого возгласа словно дар речи пропал, молча, не глядя на Христину, на трясущихся ногах перешагнул через бортик сундука и покорно улёгся на бок, не забыв подложить под щёку сложенные ладони, как будто только затем и явился в дом Хохтевых, чтобы покойно выспаться в сундуке.

Христина осторожно опустила крышку, повернула в замке ключ, потом, подумав немного, спрятала ключ на дно рядом стоящего сундука. Туда же опустила вещи купца Моисеева, оправила измятую купцом постель и спустилась в столовую. Перед ней стоял Богдан Македонович.

— Ось ты де, ягидко! — сказал он, завидев Христину.

— Чаю хотите? — спросила Христина, указывая на стол.

— Коли б горилки... Ото б дило!

— Не держим, — брезгливо повела плечом Христина.

— Ну... хоч бы яку блоху зловыть, — пробормотал попович, озираясь кругом и без церемоний ощупывая скатерть, покрывавшую стол.

— Ступайте туда, — Христина кивнула на дверь. — И наверху меня ждите.

— Дило таке, що не жде, — снова пробормотал попович и покорно направился к двери, скрывавшей лестницу в покои Христины.

Он ушёл, а Христина снова подсела к самовару. Но Богдан Македонович проявил гораздо более нетерпения, нежели предшественник. И, спустя недолго, Христина услышала его шаги, а в следующую секунду дверь отворилась, и попович, испуганный и недоумённый, предстал перед ней. Завидев Христину, пьющей чай, он, казалось, ещё больше удивился.

— Ягидко! — воскликнул он.

И Христине почудилось, будто чашки подпрыгнули в буфете.

— Ягидко, що ж ти тут робыш?!.. Казала пьять хвилин...

— Ишь, нетерпеливый какой кавалер, — усмехнулась Христина, сдувая пар с

янтарного озерца чая, заключённого в золочёном блюдце, которое она ловко держала снизу на пяти пальцах.

— Чи скилькы ж чекаты? Ты ж обицяла!

— Ступайте наверх, — как можно строже и даже несколько сердито сказала Христина. — Что вы раскричались? Весь дом сбежится...

Часы между тем ударили половину.

— Ну, добре... — недовольно буркнул попович и застучал сапогами по ступеням лестницы.

Спустя четверть часа, за ним последовала и Христина. Попович казался Христине смешным, и она не принимала его всерьёз, но вместе с тем, он немного пугал её своей непредсказуемостью и силой. Когда она вошла в спальню, попович, как был в сапогах и подряснике, лежал на кровати поверх одеяла.

— Батюшки! — невольно вырвалось у Христины при виде сапог. — Да что же это!.. Снимите вы свой армяк или нет?

— Ягидко! — проворно соскочил с постели Богдан Македонович. — Яка ж ты сердита! То ж для закоханых не мае значення — армяк, чи шо...

Попович принялся раздеваться, Христина отвернулась. Побачь же, ягидко! Як Адам — голий!.. — услышала она через несколько секунд.

— Так чего же стоите! — сердито воскликнула Христина, не оборачиваясь, лишь наклонив слегка лицо к левому плечу.

Она услышала, как попович зашлёпал босыми ногами, как заскрипела под ним кровать, и как нежно прохрустело накрахмаленное бельё. Христина обернулась: вещи Богдана Македоновича были разбросаны по полу, и, судя по их количеству, он, действительно, остался «як Адам». Сам же Богдан Македонович уютно расположился в кровати, натянув лёгкое пуховое одеяло до подбородка.

— Ну! Ягидко! — нежно позвал попович. — Ходы ж сюды!.. Причарувала мене, зиронька! Ось щастя, ось...

Но в эту самую минуту зазвонил внизу колокольчик, и голос Меланьи провещал:

— Досифей Тимофеич приехамши!

Богдан Македонович приподнялся на локте и, наморщив, точно от лимона, лицо, спросил обычным своим голосом:

— Ще вона каже?..

— Муж приехал, — невозмутимо отвечала Христина, отвернувшись от поповича.

— Ну, ягидко... — угрожающе пробормотал Богдан Македонович, спрыгивая с кровати и впопыхах натягивая на себя первое, что подвернулось ему под руку. Этим первым оказался белый пенюар Христины, перекинутый через спинку стоявшей в изножье кровати козетки. Пенюар с рюшами пришёлся поповичу не по вкусу и не по размеру, он стал, было, стаскивать его с себя, но Христина уже тянула его за руку.

— Да оставьте же! — шептала она. — После... после переоденетесь! Не пропадёт ваш армяк! Полезайте в сундук! Да скорее же...

Попович, оставив тщетные попытки закутаться в маленький пенюар, прикрывался кое-как полой.

— Ну, ягидко! — бормотал он, укладываясь в сундук. — Ну, завдала страху!

— Лежите тихо! — шепнула Христина напоследок и захлопнула сундук.

— Ой!.. Свите красний! — простонал попович, глядя беспомощно, как опускается над ним тяжёлая кованая крышка.

Щёлкнул замок, и следом за тем Христина опустила ключ на дно третьего сундука. Туда же отправились и вещи Богдана Македоновича.

Когда, приведя в порядок комнату, где только что метался раненым зверем попович, а незадолго перед тем купец Моисеев едва не лишился чувств и рассудка, Христина спустилась вниз, ратман Хвастунов ожидал её. Стоял он посреди комнаты, ухватившись обеими руками за спинку стула и оглядываясь кругом себя испуганно и настороженно. Казалось, он пожалел о том, что пришёл в этот дом и, останься он ещё ненадолго в одиночестве, сожаления его разрешились бы бегством.

Завидев Христину, ратман Хвастунов выразил оживление. Он перестал озираться, разжал побелевшие пальцы, на лице его отобразилось какое-то внутренне движение. Однако против вчерашнего Хвастунов был сдержан. Говоря же с Христиной, смотрел в сторону, точно стыдился встретиться с ней глазами или боялся чего-то.

— Ежели вы возбуждать дело, — сказал он после приветствия, — то этого лучше не

надо. Тут дело такое... Дождитесь примерно Досифей Тимофеевича. А ежели вы в средствах нуждаетесь... то вот примерно двести рублей... Только вы уж мне расписочку, а то ведь оно дело такое...

И Алфей Харалампиевич выложил на стол два радужных банковских билета.

На секунду Христине стало жаль Хвастунова. Но только на секунду — Христина переживала то состояние, когда непременно и во что бы то ни стало нужно довести до конца задуманное, когда отказ от достижения заветной, но совершенно ненужной цели воспринимается как слабость, а невозможность приблизиться к этой цели — как неудача и позор. Азарт овладевает человеком и заставляет его пускаться во все тяжкие: хитрить, настаивать, убеждать. Лишь бы получить своё, лишь бы подойти как можно ближе к намеченному.

— Чаю не желаете? — спросила Христина.

— Чаю? — испугался чего-то Хвастунов. — Премного вами благодарны, но от чаю примерно откажемся. Тут дело такое...

— Тогда вот что... — перебила его Христина. — Возьмите свои двести рублей и

ступайте туда... Вон, видите дверь? Поднимитесь по лестнице и будете ждать меня в комнате наверху. Там все дела наши и порешим.

— Отчего же мне непременно нужно идти наверх? — снова насторожился Хвастунов и впервые за всё время обратил испуганный взгляд на Христину.

— Отчего бы вам туда и не пойти? — повела плечом Христина.

— Будто бы уж нельзя и здесь!

— Отчего же непременно здесь! Чем это вам здесь так нравится? Будто бы у вас наверху язык отсохнет!

— Оно, положим, дело такое... Язык-то примерно и не отсохнет. Наверху — оно и понятно — уединённее и теплее. Только ведь к нашему разговору это и нейдёт вовсе...

— А теплее, так и ступайте себе. И почему это, интересно, нейдёт? Очень даже идёт! Теплее — завсегда лучше, чем холоднее. Да что это вы, Алфей, Харалампиевич?! Будто цыган на ярмарке! Шли бы себе молча наверх, а порешим дела, так и пойдёте на все четыре стороны. Там чернила — что мне слуг зря гонять?..

Предчувствуя недоброе, поплёлся Алфей Харалампиевич наверх, бормоча про себя что-то вроде: «Оно, конечно, можно и наверху, вы хозяйка, вам виднее... это дело такое...» А Христина в третий раз подсела к самовару.

Когда же Христина поднялась вслед за ратманом Хвастуновым в спальню, было без пяти три. Ратман сидел на самом краешке козетки с таким видом, словно только что пережил воздушные мытарства. При появлении Христины он вскочил.

— Тут оно дело такое... спальня... мне тут и вовсе ни к чему быть. Так что уж возьмите примерно ваши деньги, а я уж пойду. Только вы расписочку... А Досифей Тимофеевич...

Но он не окончил своей мысли, потому что снизу вдруг раздался басовитый голос кухарки:

— Досифей Тимофеич приехамши!

Ратман вцепился в высокую спинку кровати и, замерев, скосил глаза в сторону лестницы, точно ожидая, что вот-вот раздастся звук шагов, и хозяин дома предстанет перед ним — огромный и беспощадный.

— Ну вот, — сказала Христина, подходя к третьему сундуку и отбрасывая его крышку. — Не ломались бы вы, Алфей Харалампиевич, не торговались бы — сейчас бы, глядишь, уже дома были. А теперь что? Как я вас мужу предъявлю?.. Полезайте-ка вы в сундук, от греха подальше! А там уйдёт Досифей Тимофеевич, я вас и выпущу.

— Это вы меня очень даже удивляете, — забормотал Хвастунов, бледнея на глазах у Христины. — Зачем же примерно в сундук?

— Непременно надо в сундук!

— Я вам только что деньги принёс, входя примерно в положение... А вы что же это... Вы к чему это меня? Как прелюбодея какого...

— А вы, Алфей Харалампиевич, и есть самый доподлинный прелюбодей! — усмехнулась Христина. — Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует с нею в сердце своём. Разве не так? Так что прячьтесь, а не то Досифей Тимофеевич вас в окно выбросит, а вдогонку ещё и выстрелит!

И Христина притопнула на ратмана Хвастунова.

Как на плаху, на негнущихся ногах проделал Алфей Харалампиевич те три шага, что

разделяли козетку и сундук — окованный железом, расписанный, как и все прочие сундуки в комнате, диковинными цветами, не то розами, не то пионами, огромными и жизнерадостными.

— Грех это вам, — плаксиво проговорил ратман, стоя в сундуке и беспомощно прижимая к груди руки, — грех... Я к вам примерно с добром, а тут такое дело...

— Вот сейчас придёт Досифей Тимофеевич и все грехи вам отпустит, — отвечала Христина.

И в следующее мгновение щёлкнул ключ в замке третьего сундука, что приютил в своём лоне ратмана Алфея Хвастунова.

— Вот так, мои голубчики! — объявила громко Христина, стоя посреди комнаты и пряча третий ключ у себя на груди. — Сидите? Вот и посидите! Здесь вас только трое собралось, а сколько ещё вашего брата по улицам бродит? Вот собрать бы вас всех, да в один сундук!

И упершись руками в бока, она рассмеялась так звонко и весело, что, казалось, будто стая маленьких птичек разлетелась во все стороны.

— Самое ваше место — в сундуках! — продолжала она, обращаясь к трём сундукам. — А ещё лучше — так на цепи и в намордниках!.. И что же это за семя такое ваше, крапивное? Народятся — так будто бы херувимы! А ведь и школы ещё не кончат — как уж развратны и долгов понаделали. Мамка ещё сопли ему вытирает, а уж он на чужую жену зарится и её же и презирает! И ведь чем сам-то тупее да нескладнее, тем больше ему женщина виновата. Умишка Бог не даст, лень допрежь самого родится — вся и отрада, что чужих жён соблазнять. Что бы вы и делали, не будь чужих жён! А на самого-то посмотришь — михрютка, вахлак. Свиная вошь и больше ничего. А туда же — ломается: подай ты ему красивую да покладистую, да чтоб прислуживала-ублажала и была бы ему нянькой, кухаркой да сенной девкой. А за что бы, казалось, мозгляку такие почести?.. Сам-то дать ничего не умеет, только куски пожирнее хватает да побрёхивает, чтобы хватать не мешали!..

В это самое время в одном из сундуков кто-то чихнул.

— Будь здоров, кто бы ты ни был! — пожелала Христина и хотела прибавить ещё что-то, но вдруг замолчала и в растерянности присела на козетку.

Мало было усадить незадачливых кавалеров в сундуки. Но что же именно следовало бы сделать дальше, Христина как-то не успела подумать. Зато теперь она вдруг поняла: негоже устраивать из сундуков склепы. Но и, отперев крышки, выпустить узников на волю — тоже никуда не годилось. Можно, конечно, передать ключи Меланье, а самой укрыться где-нибудь в доме. Да только стоило ли ради такого и затеваться! Выпустить пленников следовало принародно, принародно же объяснив, как каждый из них попал в свой сундук. Да только как это сделать?..

А было то на Сплошной седмице по Пятидесятнице, когда стекались в обитель богомольцы, а купцы теснились на Монастырской площади, потому что Троицкая ярмарка была одной из каждолетних. И все в городе знали: в Духов день

монастырский настоятель даёт обед, на который бывают приглашены лучшие люди города. А в один из дней на Сплошной седмице то же общество, включая отца настоятеля, соберётся в доме бургомистра Вонлярлярского на Вознесенской улице...

Обед у бургомистра уже подходил к концу. Снаружи теснились посадские экипажи — всевозможные коляски и двуколки, вызывавшие на себя проклятия проезжавших мимо извозчиков.

Гости уже отведали и осетра, и поросёнка, и язык под хреном, и кулебяку, и карасей по-варшавски, и ещё какие-то кушанья, не слишком диковинные, но не менее от того соблазнительные; и в ожидании десерта, который был обещан с сюрпризом, проводили время в приятных беседах. Сидели за столом и второй бургомистр, и городской голова, и расправный судья, и кое-кто по купечеству, и монастырский эконом отец Алипий, и отцы келарь с благочинным. И, конечно, сам отец настоятель.

Не отбудь Досифей Тимофеевич в Персию, и он непременно был бы приглашён на обед к бургомистру Вонлярлярскому.

Приглашались и четверо городских ратманов, но явились только трое, недоумевая, куда пропал ратман Хвастунов, за которым дважды посылали, и всякий раз его не оказывалось дома.

Разговор между тем переходил с предмета на предмет, и к тому времени, как мы обратили наше внимание на общество, собравшееся в доме бургомистра Вонлярлярского, коснулся предмета деликатного и щекотливого — производимой странницами торговли у монастырских ворот.

— ...Изволите видеть, — уверял второй бургомистр, румяный, с глазами навыкате человек, фамилия которого была, кажется, Полсноп, — я нарочно приторговывался. Натурально, саван. Да только чёрный и с белыми крестами.

— Какой ужас! — отчего-то весело восклицала бургомистерша Вонлярлярская, пышная дама с круглым, гладким, добродушным лицом, с зачёсанными назад тёмными волосами, сложенными на затылке в некое подобие сдобного кренделя из тех, что торговки продают вразнос на ярмарке.

— Да-с! — подтвердил, повернувшись к ней, бургомистр Полсноп. — Да-с! Длинный чёрный саван с большими белыми крестами... Что-то вроде схимы. Уверяют, что саваны привезены из Иерусалима на Пасху. Кто их шьёт? С мёртвых они там, что ли, их снимают — не разберёшь!

— Вы всё такие страсти сегодня рассказываете! — снова вмешалась кокетливо бургомистерша Вонлярлярская, отщипывавшая длинными пухлыми пальцами золотистые виноградины и препровождавшая их в рот с таким видом, будто придавала процессу какой-то чрезвычайный, но тайный смысл.

— Ещё уверяют, — обращаясь к ней, продолжал Полсноп, — будто чёрные саваны помогают от адских мук, и что нужно хоть иногда облачаться при жизни и не-пре-мен-но быть в нём погребенным... Да-с! Да-с! — пытался перекричать он то оживление, которое сам же и вызвал рассказами о чудодейственных саванах. — И я нарочно приценивался — начали со ста целковых, довели до пяти. Помилуй, брат! Пять рублей — это ведь подходящая цена! За пять-то целковых билетик в рай!..

Тем временем бургомистерша Полсноп, такая же круглая и гладкая, как и бургомистерша Вонлярлярская, только маленькая, точно уменьшенная её копия, испытывала неловкость за супруга, забравшегося в опасные дебри. Едва ли, по её мнению, стоило проявлять беспечность в вопросах веры, а уж тем более в присутствии отца настоятеля.

— Эдак ты, друг мой, — сказала она наконец вкрадчиво, едва касаясь пухлыми пальцами в крупных золотых перстнях запястья супруга, — все кушанья своими россказнями перепортишь. После твоих чёрных саванов и пирога не захочется!

— И то правда! — с весёлым жеманством подхватила бургомистерша Вонлярлярская. — Лучше бы завели разговор о предметах изящных. О ярмарке, о дамах, о любви...

— Что же о ярмарке? — удивился Полсноп. — Разве вот говорят, будто кто-то там мёртвое тело купил...

— Ах! Он всё за своё! — снова вмешалась супруга. — Оставь ты, пожалуйста, чёрные саваны да мёртвые тела! Говорят же тебе, что самый благородный разговор — это о любви...

В это время вошёл слуга на деревянной ноге и подал хозяину письмо, пояснив при этом:

— От Хохтевых, кажись, привезли.

Бургомистр распечатал конверт и извлёк из него ключ. Повертев ключ в руках и положив рядом с собой, достал письмо. Прочитав письмо про себя, он рассеянно, всё ещё не поднимая от него глаз, сказал:

— Вот, не изволите ли... любопытный пример на интересную тему... Однако... презанятная записка!

И принялся читать письмо вслух.

— «Три пса, похотью гонимые, забрались в голубятню, дабы в отсутствие хозяина разорить гнездо. Но от голубки посрамлены были и в клети под замки посажены. А кто те псы, узнают при помощи ключа. А ключ тот — от третьей клети, где под третьим псом лежит ключ от клети второго пса, а под вторым — от первой клети. А псов тех следует предать позору и бесчестию за то бесчестие, которое сами они замышляли. Праведного и неподкупного решения от вас ожидает невинная голубка». Так и подписано, — поднял глаза бургомистр, — «невинная голубка».

— Какая прелесть! — сказала бургомистерша Вонлярлярская.

— Велите внести? — безучастно спросил слуга.

— Чего? — не понял хозяин.

— Так эти... Клети... с псами.

— Да где же они?! — воскликнул Вонлярлярский.

— Да где ж им и быть-то... На улице... на телеге стоят... Как привезли, так и стоят.

Сообщение это произвело настоящий переполох. Хозяин, а за ним и гости, исключая разве духовных особ, бросились к окнам, что выходили на улицу, и замерли, отыскивая глазами то, о чём говорилось в письме.

— Которые? — порывисто спросил Вонлярлярский.

— Во-он! На телеге стоят, — неторопливо повторил слуга, подходя к окну и стуча по полу своей деревяшкой.

— Это сундуки?!

— Они самые! Как привезли, так и стоят...

— Это очень странно, — заметил Вонлярлярский.

И, отвернувшись от окна, сказал:

— Не надо нести сюда. Мы сами спустимся вниз и посмотрим.

— Кто желает, разумеется, — добавил он, покосившись на отца настоятеля, не покинувшего своего места за столом и с невозмутимым видом наблюдавшим за происходящим в комнате.

Кроме монашествующих, пожелали спуститься все. Сундуки сняли с телеги, и одноногий слуга стал пробовать ключ. Гости бургомистра Вонлярлярского, расположившиеся полукругом на безопасном от сундуков расстоянии, молчали. Выражение на лицах было таким, какое бывает у детей в Рождественский сочельник — все ожидали чуда и немного чего-то боялись. Один сундук слуга не смог отпереть. Но в замке другого сундука ключ вдруг легко повернулся, замок щёлкнул, и слуга отбросил крышку.

В это самое время в не по размеру длинном сером подряснике, с намотанной на голове не то женской шалью, не то скатертью с кистями, из сундука выскочил некто, метнулся в сторону и бросился наутёк. Поднялся визг, дамы кинулись к своим мужьям,

а бургомистерша Вонлярлярская даже попыталась упасть в обморок. Но вспомнив о том, что она на улице, и что если муж велит отнести её в дом, она пропустит самое интересное, бургомистерша опомнилась и, ахнув, только сказала, что «со страху едва чувств не лишилась». На что бургомистр Вонлярлярский заметил:

— Э нет! Других псов мы так просто не выпустим!

И обращаясь к одноногому слуге, прибавил:

— Поищи-ка там, в сундуке, другой ключ.

Ключ отыскался быстро, и слуга тут же отпер следующий сундук.

Действо, развернувшееся перед домом бургомистра, не осталось незамеченным, и к расписным сундукам, украсившим серую от пыли улицу, потянулись отовсюду любопытные.

Второго «пса», по настоянию бургомистра Вонлярлярского, да, думается, и по искреннему желанию собравшейся вокруг публики, решено было схватить непременно. Зачем, однако, нужно было хватать и что потом с «псом» делать дальше, никто толком

не знал. Допросить ли, судить, отпустить ли на все четыре стороны — об этом не думали. Кто-то хотел схватить, а кто-то — узнать и рассказать тем, кто ещё не знал.

Но второй сундук принёс новое разочарование. С опаской, но всё же, прежде чем открыть, несколько мужчин встали поближе. Одноногий слуга, кряхтя, откинул крышку, но каково же было общее замешательство, когда поднялась со дна сундука фигура в чёрном саване и в чёрном же куколе и погрозила всем пальцем воздетой кверху руки.

Бургомистерша Вонлярлярская упалатаки в обморок, а бургомистерша Полсноп, опешившая сперва, едва опомнившись, ущипнула мужа и зашипела что-то о том, до чего способны довести бабьи россказни и всякое чаромутие.

Страшась адских мук, и Христина, должно быть, прикупила у странниц на Монастырской площади чёрный саван. Богдан Македонович, оставшись в сундуке «як Адам» и не довольствуясь пенюаром, попытался натянуть на себя первое, что попалось ему под руку. Этим первым оказался сюртук

купца Моисеева. Попович облачился, было, в сюртук и ощупью стал подыскивать брюки, как вдруг вытащил из-под себя нечто чёрное и безразмерное. Наверное, попович оказался одним из немногих, кто ещё при жизни смог оценить чудесную силу чёрных саванов. Саван скрыл от сторонних глаз не только Богдана Македоновича, но и сюртук Фрола Савельевича, с которым попович отчего-то не захотел расставаться. Когда же открыли сундук, Богдан Македонович, дабы не выдать себя слишком приметной речью, все публичные объяснения свёл к подъятию перста. После чего, пользуясь всеобщим замешательством, преспокойно покинул место своего заточения и укатил на извозчике в неизвестном направлении.

Извозчик уверял потом, что странный седок, по прибытии на Дворянскую улицу, сказал ему что-то о море, после чего скрылся за воротами соседнего с отца Македона дома. Пока же несчастный возница предавался размышлениям о связи между морской стихией и двугривенным, который он недополучил, Богдан Македонович, впервые в истории посада оплативший проезд

изречением из латыни[1], перемахнул через разделявшую сады ограду и направился прямо к отчему дому. На пороге он столкнулся с маменькой, которая пришла в ужас от чёрного савана. На вопрос родительницы, что это на нём надето, Богдан Македонович, обсасывавший какую-то травинку, отвечал небрежно:

— Та!.. Це ж от адских мук!..

Между тем на Вознесенской улице готовились к открытию третьего сундука. Бургомистр Вонлярлярский поглядывал искоса на бургомистра Полснопа, про себя опасаясь, как бы в последнем сундуке не оказалось мёртвого тела. Именно поэтому Вонлярлярский помалкивал и уже не призывал схватить непременно третьего «пса». Бургомистру очень хотелось завершить эту историю с сундуками и вернуться к неоконченному обеду.

Крышку откинули, все замерли, ожидая, что вот сейчас из сундука снова выскочит некто и напустит страху. Но никто не выскочил. «Ну так и есть — мёртвое тело», — подумал, отирая лоб, Вонлярлярский и

[1] Memento mori — помни о смерти (лат.)

почувствовал, как сердце поползло куда-то вниз, должно быть, к коленям. «Так и есть — мёртвое тело», — подумала бургомистерша Вонлярлярская, следя глазами за супругом, который подойдя совсем близко, заглянул в сундук.

— Да ведь это ж Фрол Савельич! — вдруг воскликнул он, не понятно, чему радуясь. — Моисеев, купец!

Сообщение это развеяло морок. Все взыграли духом и, только что не поздравляя друг друга, бросились к сундуку.

В сундуке, и в самом деле, лежал на боку купец Моисеев. Впечатление, однако, производил он тягостное, и был точно не в себе. Он дрожал, бормотал неясное и, казалось, никого не узнавал. Из одежды на нём было только исподнее.

Купцу помогли выбраться из сундука и, в сопровождении тягостного молчания, повели, не сговариваясь и не обсуждая, в бургомистерский дом. А бургомистерша Полснои набросила ему зачем-то на плечи свой полушалок.

Пока вели купца в дом, он бормотал что-то неясное о любви и вероломстве, о грехах

человеческих вообще и о неблагодарности в частности. И несколько раз прозвучали отчётливо среди неясного этого бормотания слова «сладчайший миг» и «царица грёз». При этом все умудрились понять, что «сладчайший миг» так и не наступил, а «царица грёз» покинула купца навсегда.

Вид Фрола Савельича растрогал всех окончательно. Не только никто не задавался вопросом, как купец, да ещё в таком эксцентрическом костюме попал в сундук, да и о сундуках-то вовсе позабыли. И только когда подали десерт, появился вдруг одноногий слуга, вопрошая у бургомистра Вонлярлярского: «Чего прикажете с сундуками делать? Отсылать Хохтевым назад или себе оставим?», все молча переглянулись, а бургомистр коротко сказал:

— Отсылай.

Фрола Савельевича Моисеева, предварительно одев, тоже отослали обратно, а именно — домой, где он и пролежал ещё две недели в горячке и расслаблении под надзором супруги.

Придя же в себя, но по слабости находясь ещё в постели, купец задумал, было,

уехать или — попросту — бежать из города. Но поправившись окончательно, переменил решение, предпочтя бегству иное.

Появившись после болезни в городе, купец Моисеев приобрёл вид ещё более независимый, чем прежде. Встречаясь же с бургомистрами, Христиной или Досифеем Тимофеевичем, он не только не отводил глаз, но, напротив, смотрел на собеседников так, что им самим делалось отчего-то неловко и хотелось бежать.

По городу, однако, поползли нелепые слухи. И кто знает, что говорили странницы на Трубной площади. К тому же времени, как воротился домой Досифей Тимофеевич, историю эту не то, чтобы забыли в городе, но изрядно перетолковали. И — странное дело! — передаваемая из уст в уста и обросшая подробностями, она, в конце концов, обернулась совершенным правдоподобием!

Может быть, Христина проговорилась кому-то, а может... Впрочем, это совершенно неважно. Тем более что одновременно в городе произошла другая история, куда как более фантастическая и невозможная, ставшая впоследствии известной, как

Сказка о мёртвом теле.

Каково шумно в ярмарочный день на Монастырской площади! Гул стоит невообразимый. Площадь, в обычный день занимающая лишь вершину холма, на котором стоит и монастырь, на ярмарку словно выходит из берегов. Спускается к подолу и мимо Пятницкой церкви вытекает на площадь перед странноприимным домом, где высится над уткнувшимися в свои пехтери и ясли лошадьми аркада хомутов. И кажется, будто лавки и балаганы на холме, шалаши на подоле, телеги и лошади на нижней, Пятницкой, площади — всё это единый мир, ни в ком более не нуждающийся, ни с кем не сообщающийся и живущий по своим особенным весёлым законам. Оттого-то, разделившись на голоса, ярмарка никогда не молчит. И в общем хоре можно различить увлечённые споры торгующихся, заунывные стоны зазывал, нагоняющих на самих себя сон, и дерзкие возгласы, вырывающиеся из

пивных балаганов. Пёстрый ситец голосов тонет время от времени под муаром колокольного звона. А то заиграют часы на колокольне, и точно парча драгоценная разовьётся, расстелится над площадью.

Что было, прежде всего, отмечено горожанами на шумной Троицкой ярмарке, так это возвращение Фомушки, хорошо известного городского нищего, проводившего все дни свои возле Святых ворот.

Вскоре после Пасхи — кажется, на Святой неделе, Фомушка вдруг исчез. Никто решительно не знал, куда он пропал и что с ним сталось. Фомушку не то, чтобы любили, но до того свыклись с ним, что, не найдя его на привычном месте, сказали: «А всё чего-то не хватает. Всё точно опустела без него площадь».

Когда вещь, много лет стоявшую в комнате, вдруг вынесут, покажется комната опустевшей, и взгляд долго ещё будет скользить по образовавшейся пустоте, и долго ещё пустота будет вызывать тоску и беспокойство. Стоило привычному пятну Фомушкиной фигуры исчезнуть с многолюдной даже в будние дни Монастырской площади, как тотчас показалась обывателю

площадь осиротевшей. А потому возвращение Фомушки стало настоящим событием, словно восстановился нарушенный, было, порядок.

Каким-то непостижимым образом Фомушка выделялся из толпы нищих и странниц, осаждавших богомольцев, как стая кровососущих насекомых осаждает забредшего в их владения человека, скота или зверя. Ещё, бывало, не выйдешь из храма, а уж услышишь их протяжные причитания и стук деревянных чашек о каменную паперть. Очерствелое сердце нужно иметь, чтобы не вздрогнуть и не поёжиться при виде несчастных, при виде лохмотьев, язв и увечий, хотя бы и виденных многажды. Для того, видно, Господь и устроил нищих, чтобы пробуждать сердца и усыплять ропот.

Грязные, увешанные отрепьями, давно уже утратившими названия, по которым различается человеческое платье, сидят или стоят они у монастырских ворот. Богомольцу неизбежно предстоит пройти сквозь этот живой коридор. Кто протянул вперёд руку, кто оловянную кружку или деревянную чашку. И на все голоса, изредка разнообразя

и проявляя зачатки фантазии, твердят они, стонут или поют:

— Подайте, Христа ради!.. Ради Христа...

Чем выделялся Фомушка из местной «золотой роты», никто бы и не сказал в точности. Летами был он немногим, по видимому, старше тридцати. На грязном лице его, как мыши в земле, прятались под смежёнными веками маленькие глазки, коловшиеся, когда Фомушка глядел перед собой. Прятались и поджатые тонкие губы, и казалось, что весь Фомушка не прочь был бы спрятаться, как-нибудь бы закрыться, подобраться или свернуться. Только нос Фомушки, похожий на спелую грушу, готовую вот-вот сорваться на землю под тяжестью собственной вызревшей плоти, жил своей жизнью и не желал никуда прятаться.

Именно Фомушка всегда оказывался ближе к Святым воротам. Именно его нагольный тулуп глядел зимой более тощим, чем у собратьев. И не было более ветхой рубахи, чем та, что прикрывала Фомушку летом. Даже бурая деревянная чашка, которую протягивал Фомушка навстречу скудным своим грошикам или калачикам, была

щербатой по причине отколотого края. Никто не умел просить так жалобно, никто не умел внушить приезжим богомольцам столько сострадания к своим лохмотьям, как умел это Фомушка. Да и местные обыватели, предпочитавшие порой более торжественное монастырское богослужение куда как скромному приходскому, никогда не отказывали Фомушке в копеечке.

Происхождение Фомушки было тёмным. Едва ли кто знал, чей он сын и когда появился на свет, родился ли от местного обывателя или пришёл, по обыкновению всех странников и нищих, из чужих краёв. Знали только, что живёт Фомушка в Кокуевой слободе в домике мещанки Быковской, пробивавшейся кое-как сдачей внаём нескольких чуланов. Домик был маленьким, и чуланы, которые хозяйка бесстыдно именовала комнатами, походили более всего на какие-то чехлы для кроватей. Потому что ничего кроме грубо сколоченной кровати и узкого к ней подхода, в такой комнате не умещалось. Поверх кроватей хозяйка оставляла тощие, точно набитые пылью матрасы, отведавшим сна на которых весьма скоро

открывался смысл известного выражения «всюду жизнь». Платил Фомушка исправно, на постое оставался круглый год и не переходил в летнюю пору в разряд Троицких подоградников, что проводили тёплые ночи, кутаясь в траву под стенами обители.

Итак, на Троицкой ярмарке Фомушка вновь появился у Святых ворот с щербатой чашкой в не знавших мыла руках. Прошла мимо Христина Хохтева, прекрасная как всегда, светящаяся, одарила рублём и улыбкой.

— Христос Воскресе, Фомушка! Куда же ты запропал?

— Воистину Воскресе, матушка! Воистину, голубушка! — отвечал Фомушка своим плаксивым голосом. — Где ж нам и быть-то, что и делать, как только Бога за милости благодарить...

— Ну, спаси Христос, — поклонилась Христина и скрылась в воротах обители.

В тот же день видели Фомушку и с другой стороны площади у Троицкой часовни, и на подоле у Пятницкой церкви, куда не спускаются торговые ряды и балаганы и где встречаются лишь сбитые из досок шалаши.

Видели Фомушку и у странноприимного дома на Пятницкой площади, где какая-то пришлая старуха-богомолка, завёрнутая в линялые, латаные юбки и похожая оттого на кочан подгнившей капусты, подала ему медный грошик.

Но в самый разгар ярмарочного дня случилось нечто до того необыкновенное, что о Фомушке на время совершенно забыли. На подоле в одном из странных шалашей, спускавшихся к Пятницкой церкви, точно хвост огромной кошки, что растянулась перед святой обителью, сидел странный купец. Нестарый ещё мужичок, лет, может быть, сорока. Все, кто видел его, утверждали потом, что с самого рассвета, с того самого часа, когда подняли над ратушей пёстрый флаг, означавший начало розничной торговли на Монастырской площади, мужичок сидел в одной и той же позе, не шевелясь. Странным казалось и то, что товару в шалаше не было никакого, кроме двух берёзовых веников, уныло смотревших с прилавка. А сам странный торговец, надвинув на глаза картуз и сложив на коленях руки, расположился в глубине своего шалаша на перевёрнутом ящике.

Откинувшись на дощатую стенку шалаша, торговец был недвижим. Словом, всё говорило о том, что меньше всего на свете его волновала продажа берёзовых веников.

Поначалу на него просто не обращали внимания. Место его было не бойким, да и товар неинтересным. Потом кто-то из праздношатающихся и плюющих лузгой молодых людей, для которых ярмарка — хорошая возможность показать себя и посмотреть других, разодетые кто в сюртуки, кто в препоясанные рубахи, но неизменно в лучшее своё платье, пустил походя острое словцо относительно обилия товара в шалаше. Но продавец двух веников даже не шелохнулся. И в другой раз та же ватага, слоняясь купно по площади и вновь очутившись перед странным шалашом, попыталась, было, поднять на смех восседавшего на ящике купца. Но натолкнувшись на те же молчание и безразличие, проследовала дальше, подобно стае птиц, перелетающей в поисках зёрен с места на место. Когда же, насмотревшись на ярмарочное изобилие и вспомнив о двух вениках, пересмешники нарочно явились на подол, таинственный

купец встретил их безучастно. Теперь уже казалось, что это он смеётся над ними. Предвкушаемое ещё недавно веселье стало таять. Чем-то зловещим вдруг пахнуло на забияк. И они притихли и сбились вместе, точно перепуганные щенки.

Наконец один из них, самый разбитной и развязный, по имени Игнашка Десницкий, подмастерье игрушечника Дамаскина Свенторжецкого, резачившего из дерева каких-то куколок-мужичков, не то лешаков, не то домовых, не то и вовсе непонятно кого, взял с прилавка один из веников и, понюхавши его с глупейшим видом, сказал:

— А почём, позвольте полюбопытствовать... в какую этта цену будут ваши букеты?

Товарищи Игнашки оживились. Кто-то хихикнул, кто-то расхохотался, и все дружно уставились на продавца. Продавец оставался недвижим. Казалось, он крепко спит.

— Тише вы, охальники! — притворно рассердился Игнашка на приятелей и для пущей убедительности хватил кого-то веником, чем только усугубил веселье. — Господин купец во сне торговлю ведёт, золото с кармана на карман пересыпает. А вы ржёте,

жеребцы проклятые!.. Уж больно купец тороватый! Другого такого на всей ярмарке не сыскать.

— И товар красный, — поддакнул Игнашке кто-то из товарищей.

— И то! — согласился Игнашка. — Хороший товар сам себя хвалит...

И снова опустил нос в не успевшую ещё засохнуть берёзовую листву.

— Что ты, Игнашка, товар-то даром мусолишь? — подначил балагура не то кто-то из приятелей, не то из начинавших собираться зевак. — Купи — распотрошишь не то.

— А и купил бы! — запричитал Игнашка. — Боюсь товар заветный. А на завет-то ведь и цены нет!

— Дёшев хрен, да чёрта ль в ем, — точно в ответ Игнашке отозвалась хохтевская кухарка Меланья, подошедшая на шум полюбопытствовать и уже крутившая в руках второй веник.

— Купи, Мелаша! — обрадовался Игнашка. — Я те свой уступлю. Хозяйке на именины поднесёшь!

— Я-от те уступлю! — огрызнулась Меланья.

Толпа загоготала. Но внезапно все смолкли, и необычно тихо для ярмарки вдруг сделалось на этом пятачке протяжённой Монастырской площади. Да и было отчего смолкнуть.

Грузная Меланья, собравшаяся, было, хватить Игнашку веником, как-то неловко повернулась и висевшей на согнутой руке корзиной сотрясла шалаш. Следом за тем все увидели, как дремавший на ящике купец, точно деревянный болван, рухнул наземь. Да так и остался лежать недвижим. Картуз покатился с его головы, и слева, чуть повыше затылка в окружении каймы слипшихся почерневших волос обнажилась глубокая расщелина. И смотрел из расщелины белый островерхий костяной осколок.

Меланья проследила за остановившимися вдруг взглядами толпы, обернулась к шалашу и в ту же секунду заголосила, перекрывая ярмарочный шум.

Ярмарка всколыхнулась. Старухи с котомками, молодицы с корзинами, собаки с воздетыми как боевые знамёна хвостами, купцы, оставившие свои лавки на попечение мальчишек или приказчиков — всё это

пёстрым и шумным потоком потекло вниз на подол. Все лица и даже морды у собак искажены были одной и той же гримасой, выражавшей смесь испуга, озабоченности и предвкушения чего-то приятного.

Ничего похожего не случалось ещё под стенами обители. В престольный праздник, на ярмарке, почитай, в самом монастыре — убийство...

Собравшаяся на подоле и пришедшая в себя после первого потрясения толпа пустилась в рассуждения:

— ...Гляньте, братцы... В башке-то дыра, а крови нигде нет... Ну ни кровиночки!..

— ...Святители! Вот горемычный...

— ...Ясное дело! Его сюда уж закоченевшего принесли!

— ...Никак ночью! Чтоб не видал никто...

— ...А кто ж таков будет? Жена-то есть у него? Деточки?..

— ...Должно пришлый — не местный...

— Да ведь это ж.., — робко начал Модест Шокотов, тот самый сторож Вознесенской церкви, что на семьдесят рублей в год содержал больную жену и тёщу, не отличавшуюся благонравием. Потрясённый своим

открытием, он даже протиснулся вперёд. — Да ведь это ж, братцы... Поратов!..

— И то! — признав и оттого испугавшись пуще, недоумевая, что не догадались раньше, отозвались в толпе.

В самом деле, все, кто был вчера в трактире Задериха, что в Кокуевой слободе, видели сегодняшнего мертвеца живым и невредимым. Настоящего имени его никто не знал. Поратовым же назвал его Модест Шокотов единственное потому, что и без того странную речь свою незнакомец щедро разбавлял словечком «порато», смысл которого, пробившись в какой-то момент сквозь толщу наговоренного, обозначился как «очень».

В начале седьмого в Задериху вошёл человек с новенькими юфтевыми сапогами подмышкой. Судя по костюму, был он мещанином или небогатым купцом. Усевшись за свободный и липкий, по обыкновению, стол и пристроив рядом с собой на лавке сапоги, человек первым делом объявил подскочившему половому:

— Порато иссь хощу...

Половой, длинный и узкий, похожий на червя малый, обращающий на себя

внимание необыкновенно яркими, сочными губами и пышными, по-женски округлыми ягодицами, хихикнул и вскоре принёс посетителю жареной рыбы, картошки в масле, жареных лепёшек, квасу и захватанный графинчик с водкой. Съев всё это и выпив, посетитель запросил «цайку». И половой поставил перед ним пару чая — большой чайник с кипятком и маленький со спитой заваркой.

Дальнейшие события, молве о которых ещё предстояло облететь посад, разворачивались на глазах у посетителей Задерихи, среди которых был и Модест Шокотов, забредавший иногда в трактир перекусить и выпить кваску. А иной раз, если случалось, и водочки. Хотя не квас и даже не водка были причиной посещений Модестом Шокотовым кокуевского трактира. Комната, которую нанимал Модест в Штатной слободе и в которой лежала его расслабленная жена и властвовала не отличавшаяся благонравием тёща, сама выталкивала своего хозяина на улицу. Отправляясь на службу — сторожить Вознесенскую церковь — Модест покидал своё жилище столь заблаговременно, что

незнакомый с расположением и протяжённостью посадских улиц, мог бы составить весьма неверное представление о размерах самого посада.

Модест Шокотов был человеком самым благонамеренным. Ни внешность, ни характер его не носили ярких и буйных черт. Ничего примечательного не нашёл бы наблюдатель в этом человеке, который к сорока годам своим не освоил никакого другого ремесла, как только ночное бдение с колотушкой в руках у стен каменной Вознесенской церкви. Но происходило это не от лености и не от неспособности к иному занятию. Просто... как-то так всё оно сложилось. И Модест принял этот пасьянс судьбы как нечто раз и навсегда даденное. Когда-то ещё мальчишкой ходил Модест сторожить с дедушкой. А после стал ходить один, думая, что так оно и должно быть, что в том и порядок Божий, что всяк к своему приставлен. Излюбленным занятием его было бродить в одиночестве по слободским улицам, наблюдать за жителями и составлять в уме картины, кто из людей как живёт и чем занимается. «Вот эта тётка, — думал, бывало, Модест,

разглядывая торопившуюся куда-то с небольшим узелком мещанку, — должно, одевальщица кукол. Вишь ты, узелок махонький да мягкий — потому тряпьём набит. Да вон и парчовый лоскут выбивается сверху из-под узла. На что ещё и нужны у нас парчовые лоскуты, как не кукол рядить...» «По всему видать, — размышлял он в другой раз, — что водка тебя сосватала. Вишь, какой был дорогой костюм!.. И шляпа... И как обносился!.. Знаем мы вас... московские кутилы. Какой-нибудь дворянчик средней руки... Идёт уверенно, не как приезжий... Получил небольшое наследство да и спустил в кабаках. Теперь вот к нам припожаловали — житьё у нас дешёвое, столица недалека. А сойдись-ка с хозяйкой — в тепле и сытости век доживёшь...»

На размышления вызвал Модеста и человек с сапогами. «Где-то я уже слыхал это прежде... эти слова...», — думал Модест, до которого долетали обрывки разговора нового посетителя с завсегдатаями Задерихи — не один Шокотов заинтересовался новоприбывшим.

Нашлось несколько человек, сугубых патриотов, которые всегда оказываются

подле чужаков с вопросами вроде: «Ты чего по нашей улице ходишь?» Поскольку чужаки, даже и самые миролюбивые, обладают свойством пробуждать в аборигенах смутные и дикие влечения, убивая всякий страх и внушая превосходство надо всем, что ни на есть чужого.

— А что, земляк, — доносился до Шокотова голос Вахромея Дирина, сусальщика из Штатной слободы, уже изрядно воодушевлённого задерихинскими напитками, — славные ты справил себе сапоги...

— Дородны, — соглашался незнакомец, — порато дородны, близняка! Баски!.. Истовенно бродни! Даве мне поблазилось, цто...

— А что, земляк, — перебивал незнакомца Дирин, не понимая, очевидно, о чём толкует ему словоохотливый собеседник, — каково у нас отобедал?

— Порато жадал рыбки-то съисть! Рыба от солона, воложена да изгодна... Цай-от старой... забусовел... Верьхосытку, бывать, ишша...

— А вот мы, земляк, заложим твои сапоги, — снова перебил незнакомца Дирин и,

обращаясь к товарищу, сидевшему тут же, прибавил: — Как мыслишь, Андрюха?

Но Модест Шокотов не сумел разобрать, как именно мыслит рыжий как лис Андрюха, потому что тот только пробормотал что-то невнятное. Дирин, однако, пришёл в восторг и расхохотался так, что заставил многих обернуться и посмотреть в свою сторону.

— Ты пошто смехом-то зовёшь, — настороженно и недовольно отозвался незнакомец. — Дружка-от твой... бурнасой... А бурнасы-то, сказывают, порато ругливы...

— Отчего ж смехом? — ухмыльнулся Дирин.

— Ну, напусты лесы! Пошла вотьба да котора!.. Элака драковань-от!..

— А вот мы сейчас возьмём твои сапоги и поглядим, какая там «драковань»...

— Да что вы, бажоны! Докуда будете ваганить-то?! Излиху-то не сыпьте!..

— А вот мы сейчас.., — проговорил Дирин и в самом деле потянулся за сапогами.

Но незнакомец, не собиравшийся так просто расставаться с обновой, успел сапоги перехватить. И в Задерихе началась та

соблазнительная возня, которая всегда обещает закончиться хорошей дракой. К счастью для себя и к тайному неудовольствию посетителей, вмешался хозяин заведения, Хрисанф Илларионович Тюрмарезов, толстый и красный мужик, вчера ещё бывший крестьянином, но переписавшийся в купцы, чем и гордившийся до чрезвычайности и по той же причине требовавший обращения к себе по отчеству. Выскочив на шум из внутренних покоев, где сам он обитал с семейством, хозяин принялся выталкивать вцепившихся в сапоги незнакомца и Дирина, а заодно и крутившегося рядом Андрюшку.

— ...В расправу захотели? — кричал он, вытаращив глаза, бывшие и без того навыкате, так что казалось, что ещё немного и они вывалятся из своих орбит и покатятся по грязному полу Задерихи. — Убирайтесь со своими валенками... А вы чего рты раззявили? — крикнул он половому и двум мальчишкам-работникам, с удовольствием и волнением наблюдавшим за склокой. — Зовите Кузьму!

И тут же сам закричал, что было мочи:

— Кузьма-а-а!!!

И налился кумачом.

Мальчишки метнулись в сторону, очевидно, за Кузьмой. Но тот и сам уже явился на зов хозяина — огромный, с заспанной физиономией. Жил он в каморе при Задерихе, большую часть дня спал, но неизменно являлся, когда нужно было навести в заведении порядок при помощи кулаков и силы.

Под хохот и подбадривание посетителей Кузьма сгрёб в охапку Андрюшку и незнакомца с Дириным, державшихся за связанные вместе сапоги — один за левое голенище, другой — за правый носок, и вытолкал всех на улицу. Что было дальше, никто не знал. Правда, несколько любопытных, нарочно последовавшие за изгнанными, заметили только, что уже на улице у незнакомца и Дирина оказалось в руках по одному сапогу. При этом незнакомец, почувствовавший, что ничем более не связан с Дириным, бросился прямиком к монастырю. Но, не добежав до монастырской стены, свернул вправо, в Штатную улицу, ведшую в Штатную и Ильинскую слободы. Вахромей же с Андрюшкой, опомнившись, бросились следом. И в тот день никто больше о них ничего не слыхал.

Но когда незнакомца с пробитой головой нашли на ярмарке, нелепая история в Задерихе тут же явилась во всех подробностях. Все, кто был вчера в Задерихе, включая Хрисанфа Илларионовича Тюрмарезова, подтвердили факт драки и в показаниях своих не разошлись ни на волос. Тюрмарезов же, пользуясь выпавшим случаем, предпринял попытку обвинить злополучную парочку в нанесении ущерба заведению посредством учинения в его стенах драки. Но попытка не удалась.

Теперь уже никто не сомневался, что странного незнакомца убили Дирин с Андрюшкой. Убили спьяну, в хмельном угаре, а теперь, задержанные, отпираются и твердят, будто потеряли его из виду тогда же. Что, поворотив за ним в Штатную Сергиевскую улицу, самого незнакомца не увидели. Что, потоптавшись на месте с минуту или две, всё же бросились дальше. И пробежав ещё с полверсты, своротили направо, на Штатную набережную. Но, не обнаружив там признаков беглеца, вернулись снова в Штатную Сергиевскую улицу. Поскольку же отсюда Штатная Сергиевская улица начинала ветвиться как хорошее дерево, разбегаясь во

все стороны переулками, проездами и тупиками, поиски свои решили прекратить. Сапог с ближайшего моста препроводили попечению реки, а сами отправились по домам. Однако и жена Дирина, и мать Андрюшки показали, что домой оба явились уже за полночь. Из чего следовало, что со Штатной Сергиевской улицы приятели отправились отнюдь не по домам. Но здесь-то именно оба злоумышленника запирались и стояли на своём, повторяя угрюмо, как заученное:

— Врут бабы... путают. Им что полночь, что полдень — всё едино.

Но следствию такое объяснение показалось малоубедительным. Гораздо более правдоподобной представлялась версия убийства приятелями странного незнакомца. Дирину и Андрюшке не раз уже советовали перестать валять дурака и честно сознаться, чем они раскроили голову своей жертве и куда дели пресловутые сапоги. Но друзья только дулись и твердили, что «не убивали и второго сапога не видали». И ни кандалы, ни каторжные работы, отчётливо маячившие уже совсем близко, так что рукой можно

было дотянуться до них, не вразумляли друзей и не вызывали в их душах раскаяния.

И всё же... «Всё же здесь что-то не так...», — именно эта мысль занимала всё последнее время Модеста Шокотова. «Куды ж им выдумать — мертвеца на ярманку приволочь! И слова эти... Вестимо, где-то слыхал я уж эти слова...», — морщил он лоб, вспоминая то «порато», то «бажоны», то «дородны». И ещё что-то странное — не то словцо, не то присказка, точно за компанию выглядывало из недр памяти. Точно тот, кто говорил «порато», говорил и другое. «Охтимнециньки!», — слышался Шокотову усталый женский голос, неведомо о чём вздыхающий, незнамо кого жалеющий...

Спустя три или четыре дня, как ярмарочный мертвец явил себя торговому люду, Модест Шокотов, запирая после вечерней службы церковь, услышал у себя за спиной:

— ... В слободах только и разговору, что об этом немце. Сказывают, будто об нём и видение уже было. С него и должно начаться...

Несколько женщин из мещанок, задержавшиеся в церковном дворике, говорили между собой.

— Что начаться?

— Что, что... Известно!.. Должно начаться, — несколько негодуя на бестолковость товарки, объяснила первая.

— Да и не немец он вовсе, — вмешалась третья. — Брат мой, Семён, что в Москву-то с товаром ездит, сказывал, что речь такую слыхал от мужиков, которые с рыбными обозами приходят... Какой он немец!

Тут Шокотов услышал четвёртый голос. Та, кому он принадлежал, не участвовала в общей беседе. Но слова и то, что хотела она ими выразить, имели, как казалось, какое-то отношение к разговору о ярмарочном мертвеце.

— Господи, Господи.., — вздыхала женщина. — Царица Небесная... охти-мнециньки...

Шокотов остолбенел. Но уже в следующее мгновение обернулся и увидел маленькую, средних лет мещаночку. Очень недурную собой, с бойкими глазами, аккуратно одетую — в коричневое шерстяное платье. Она крестилась на церковь, кланялась поясно, то и дело поправляя цветастую шаль, покрывавшую голову и съезжавшую по временам на затылок, так что открывались её светлые, цвета, какого

бывает капуста в щах, гладко зачёсанные назад волосы.

Шокотов тут же припомнил, что не раз уже видел её в церкви и точно — от неё слышал эти странные слова, все эти «порато» и «мнеуиньки». Но кто она такая, где живёт и чем занимается, он не знал.

— Ну... чего тут... столпились... Не ярманка! — буркнул он на разговаривавших женщин, подстрекаемый не то удовольствием от своего открытия, не то неудовольствием от новой загадки. — Ишь, не намолились!..

Женщины, не обращая внимания на Шокотова и не прерывая беседы, побрели прочь. Поправив в очередной раз свою шаль и защепив её пальцами левой руки под подбородком, ушла и поразившая Шокотова мещанка.

Шокотов остался один. Но поколебавшись с минуту, он бросил вверенную ему церковь и зашагал, высматривая впереди себя цветастую шаль. Оказавшись в Штатной Никоновской улице, Модест скоро увидел, что мещанка под шалью скрылась за высоким сплошным забором небольшого, но крепкого дома.

— А послушай, — остановил он проходившую мимо бабу, такую толстую, что издали её можно было принять за сноп, чудом ли каким-то, магнетизмом ли перемещающийся вдоль улицы, — не знаешь ли, кто живёт в этом доме? Ведь ты, я чай, местная?

— Отчего ж не знать — знаю! — охотно остановилась баба, точно только и ждала, чтобы кто-нибудь заговорил с ней. — Да тут все знают — на то и соседи. И не сслеживай — узнаешь. Само так в глаза и лезет...

Она хотела ещё что-то добавить, но Шокотов оборвал её.

— Кто ж эта женщина? — спросил он, кивая на дом за глухим забором.

— Эта?..

И толстуха поведала, что дом ещё недавно занимали купцы Селецкие, «да вот те, что в рядах мелочную лавочку держат». Но ещё на прошлое Успение купцы дом продали. А купила дом не хозяйка, что живёт в нём, да она и не хозяйка. А купил один мещанин — Фома Григорьевич. А кто он и откуда — про то неведомо. А хозяйка, которая и не хозяйка вовсе, не жена ему, а «прости Господи»

полюбовница. Мещанин солидный такой, с носом. Здесь не живёт, ходит только. А есть ли у него своя жена — про то тоже неведомо. Как только Фома Григорьевич дом-то купил, так полюбовницу свою — Ариной звать — и заселил сюда. А про неё сказывали, что будто она — мужняя жена — пришла сюда не то с Великого Устюга, не то с Архангельска, не то с какого другого города. А тут уж Фома Григорьевич её подобрал и полюбовницей своей сделал. И содержит её, и приходит часто. Она же милости такой не оценила и в последнее время то бранится, то вдруг как завопит, а Фома-то Григорьевич как зарычит... Должно, учит её. А даве — двор не то мыли... Так воды столько вылили!.. По всему посаду сушь, а тут на улице — реки разливанные.

— Вона... какие лужи, — объясняла баба, растопырив пальцы.

Как вдруг лицо её переменилось.

— Оборотись-ка... Оборотись-ка, мил человек, — зашептала она, вперив загоревшиеся глаза куда-то поверх левого плеча Модеста Шокотова, то и дело переводя взгляд на его лицо, точно приглашая взглянуть, точно

говоря: «Да вот же то, что ты ищешь! Обернись только».

Модест обернулся. К высокому сплошному забору подходил человек. Человек как будто незнакомый Модесту, но в то же время мучительно напоминавший кого-то. Довольно ещё молодой, одетый просто, но чисто. Лицо показалось Модесту грубым, мясистым. Из-под козырька сверкнули на Шокотова два маленьких, востреньких глазка, будто огрызнулись два злобных зверька и спрятались снова в нору.

«Экое диво... Что за притча чудная.., — думал сторож Вознесенской церкви Модест Шокотов, торопясь на свой пост, который оставил он без всякого дозволения. — Право, диво: всё знакомо, всё уже было... и ничего не разобрать... Как это сказала баба? "Ходит один, солидный такой, с носом"... С носом... Именно, что с носом... Всё-то и дело-то, стало быть, в носе... Не остаться бы с носом!.. А кто-то, я чай, непременно с носом останется...»

И что-то ещё несуразное лезло ему в голову. А ночью, когда он со своей колотушкой обходил церковь, а после возвращался в предназначенную для него будку или сидел

по обыкновению на низенькой скамеечке, устремив взгляд к звёздам, водившим над ним хороводы, крутилось на уме: «порато», «Святые ворота», «Архангельск», «нос» и снова «Архангельск». И что-то ещё ускользающее, что-то, не могшее отлиться в слово и потому носившееся где-то рядом в виде неясных призраков...

Уже увяли ветви берёз, украшавшие храмы на Троицу. Уже свернулась Троицкая ярмарка, и схлынуло оживление с Монастырской площади. Уже понемногу стал забываться ярмарочный мертвец. И всё, казалось, было спокойно: нищие расположились у Святых ворот, торговцы обычным порядком расселись в лавках вдоль монастырских стен. Как вдруг в один прекрасный день к Фомушке, сидевшему тут же у Святых ворот, подошли становой пристав Порфирий Игрушкин и двое пятидесятских, украшенных бляхами. И пристав сказал:

— Ты будешь Фома Григорьев Книжников?

— Что же? — помедлив, отвечал Фомушка. — Наше фамилие...

— Вставай, — грубо велел Фомушке становой и пнул сапогом щербатую деревянную чашку, так что монеты из неё рассыпались, а один двугривенный, вставши на ребро, проворно покатился в сторону и был пойман кем-то из товарищей Фомушки, не пожелавшим расстаться с добычей. — Вставай, ты арестован.

— Что же это... — захныкал Фомушка, подбирая толстыми, грязными и, как казалось, неловкими пальцами просыпавшиеся деньги. — За что же монетки просыпали...

О том, что сказал ему становой, он точно не слышал или не понимал.

— Встать! — закричал Игрушкин.

И отчеканил:

— Фома Григорьев Книжников, ты арестован по обвинению в убийстве архангелогородского мещанина Бориса Вешнякова...

Снова рассыпались деньги. И уже не один двугривенный, а множество мелких монет покатились во все стороны по площади...

Вообрази, душенька, — вечером того же дня изъяснял за ужином расправный судья, титулярный советник Мирон Терентьевич Тареев своей супруге Марфе Гавриловне. — Фомушка... Ну да Фомушка — clochard pittoresque... тот колоритный нищий, что вечно рыбьим мехом укрыт...

— Ах, мой друг, слышал бы ты, какие страсти передаёт Акулька! — перебила мужа Марфа Гавриловна. — Бог знает, что такое она несёт... Ума не приложу, где можно было эдакого нахвататься!.. Ну да что же Фомушка? Я отлично помню!

— Ну да... Фомушка... Спасибо, душенька, — и Мирон Терентьевич нежно поцеловал ручку, подложившую ему на тарелку кусочек хлебца. — Является тут к нам один мужичок. Кто таков? А сторож Вознесенской церкви. Мужичок из себя странный — ну вот ни в городе Иван, ни в селе Селифан. Но да вот что рассказывает.

Здесь Мирон Терентьевич взял паузу, в продолжение которой из холодного,

покрывшегося слезой графина, налил себе водки и выпил её, после чего замер, зажмурив глаза, а уж потом отправил в рот кусочек студня, игриво трясущегося на вилке.

— Выпускайте, говорит, тех двоих... Ну то есть Дирина с Андрюшкой. Не они, говорит, убивцы. Так и сказал: «Не они убивцы!» Поди ты к чёрту, говорим ему...

— Вот уж и помянул! — досадливо сказала Марфа Гавриловна. — Ну стоит эдак чертыхаться?..

— Прости, мой друг, прости... — погладил супругину ручку Мирон Терентьевич. — Поди ты... говорим ему. Тоже... нашёлся тут... распорядитель бала. Почём, говорим, ты знаешь, что не они убили, когда всё против них? А он — своё! Я, говорит, наверное знаю. И могу вам истинного душегуба хоть сию же минуту представить. С тем, говорит, чтоб вы его вязали, а тех двух выпустили. Потому — невиновны! — с этим Мирон Терентьевич поднял вверх указательный палец и посмотрел на Марфу Гавриловну в каком-то самоупоении.

— Как же ты долго рассказываешь! — поморщилась Марфа Гавриловна. — Мне

уже не терпится знать, а ты всё перечисляешь! Бог знает, как можно эдак рассказывать! Кто же убийца? И причём здесь Фомушка?

— Погоди, душенька, — отвечал расправный судья нетерпеливой супруге, — я хочу, чтобы ты поняла. Чтобы составила себе доподлинную, с позволения сказать, картину...

— Ну да что же там...

— Так вот... сторож этот и говорит... Я, говорит, соследил его. Убийцу, то есть. И весь его замысел подлый мне раскрылся. И оный замысел я вам представлю, а вы, говорит, хватайте его!

— Кого? Да кто же убил?

— Вообрази, мой друг! И мы спросили о том же! И как ты думаешь, кто же убил?..

— Ах, Боже мой! — снова наморщилась Марфа Гавриловна. — Ну почём я-то знаю!..

— Вообрази только, душенька: Фомушка!

— Фомушка — убийца? — фыркнула Марфа Гавриловна. — Что за вздор! Этот Фомушка мухи не обидит. И не по благонравию, а по... по недоеданию.

— Вот и мы то же! А сторож — своё: хватайте, говорит, его! Потому это не Фомушка,

а злодей и мошенник. И никакой, говорит, он не нищий.

— Куда хватил! — многозначительно заметила Марфа Гавриловна.

— Стали мы проверять. И что бы ты думала?

— Что же?..

— А вот что... Фомушка, он же — Фома Григорьев Книжников — оказался домовладельцем: два дома. Один — в Ильинской слободе, другой — в Штатной. Помимо домов имел содержанку в лице замужней архангелогородской мещанки Арины Спиридоновой Вешняковой. От мужа оная мещанка сбежала тайком, так что тот и не догадывался, где она обитает. Книжников, сойдясь с Вешняковой, второй свой дом в видах личной безопасности записал на неё. Но не предугадал в ней прыти. А именно: Вешнякова, обжившись, Книжникова решила не пускать. Но, душа моя, что ты там себе ни говори, а вот он весь женский пол, как есть в своей глупой недальновидности! Ну, скажи... скажи... можно ли было поступать так с человеком, нищенством заработавшим на

два дома?!.. C`est très imprudemment! C`est à la légère! N`est pas?[1]

— C`est ça, mon ami. C`est ça[2], — отвечала Марфа Гавриловна, с удовольствием слушавшая супруга.

А надо знать, что расправный судья чрезвычайно любил пересказывать своей половине все дела, разбираемые на службе. Рассказывая, он приосанивался, глядел орлом и, если удавалось увлечь рассказом Марфу Гавриловну, так воодушевлялся, что, казалось, мог самолично раскрыть все уголовные и прочие преступления не только в посаде, но и во всём уезде! Самому себе тогда представлялся он лицом значительным, не попусту ядущим хлеб и не зазря бременящим землю.

— Что же Книжников?.. Или, если угодно Фомушка... Фомушка отправился в Архангельск, нашёл там этого Вешнякова и, уж не знаю, какими хитростями, приволок его к нам. А здесь на дворе у сожительницы или, лучше сказать, на своём собственном дворе,

[1] Это очень неосторожно! Это очень легкомысленно! Не так ли? (фр.)

[2] Так, мой друг. Так. (фр.)

и порешил. После чего труп оного Вешнякова притащил ночью на ярмарку — благо, тащить недалеко.

— За что же это он его? — испугалась Марфа Гавриловна.

Но Мирону Терентьевичу того только и надо было.

— Ах, душа моя! — восклицал он, потирая радостно руки, как будто речь шла о его производстве в коллежские асессоры. — Ты бы спросила лучше вот эдак: «За что же это он *её*»! *Её*! Понимаешь ли? *Её* он поразить хотел, *её* запугать... Это он управу на неё такую нашёл!.. А об этих-то двоих, что обвинялись прежде, вот что стало известно. Оказывается, у Дирина, у Вахрушки-то, краля какая-то в Штатной слободе сидит. Оттого-то они с Андрюшкой и возвратились за полночь. А молчали — один жены боится, другой товарища выдать не смеет... Да ведь как боится-то! На каторгу готов лучше пойти! Каторга жены милее!..

На последнее замечание Марфа Гавриловна только покачала головой. Покачивание не выражало одобрения.

— Но каков же сторож! — продолжал восклицать Мирон Терентьевич. — Кажется... кажется, Модест Шокотов его имя. Ведь это мужик! Совершенный мужик! Вот как есть — неучёный и тёмный. А тут ведь сам, своим то есть умом до всего дошёл!.. Каков же после этого русский мужик! — при этом Мирон Терентьевич так взмахнул ножом, что могло показаться, будто это был меч, которым расправный судья, титулярный советник Мирон Терентьевич Тареев готов был рассечь всякого несогласного, всякого обидчика русскому мужику. В целом же впечатление было такое, что Мирон Терентьевич решительно и всесторонне на стороне мужика и намерен принимать в его судьбе самое деятельное участие.

— Он и сражается, — продолжал расправный судья, — он и хлеб, понимаешь, сеет, он и... когда надо... того...

Но здесь Мирон Терентьевич понял, что зарапортовался и что для выражения патриотического порыва ему не хватает слов. Да и сам порыв, к тому же, начал угасать. Тареев почувствовал, что устал, а потому погрозил кому-то ножом, постучал черенком ножа по

столу, что выглядело довольно строго и внушительно, а после спросил у Марфы Гавриловны:

— А что же Акулька, душенька?..

И Марфа Гавриловна рассказала супругу историю, которой суждено было затмить историю ярмарочного мертвеца и войти в посадские анналы, как

Сказка о чудесном зеркале.

Акулька, сиречь Акулина Спиридоновна Запаскова, была калязинской мещанкой, но давно уже проживала возле Троицкой обители в доме расправного судьи Тареева, помогая супруге судьи, Марфе Гавриловне, управляться с небольшим хозяйством. Всего же в доме было пятеро слуг. Днём Акульку нередко можно было встретить на базаре или в торговых рядах у монастырской стены с корзиной провизии. Случалось, что корзину свою Акулька возила домой на извозчике, чем вызывала обыкновенно негодование товарок,

провожавших в таких случаях Акульку шипением:

— Ишь... Барыню из себя корчит...

Но Акулька нимало не смущалась и, подсаживаясь к извозчику, заводила, бывало, негромкую песню:

...Пусти меня, маменька, во поле погулять!
Не ходи, Акуленька, — во поле казаки!
Я этих казаченьков не боюся,
Подойду поближе, поклонюся...

Извозчик ухмылялся и со словами «Ах, ты, бочки-бочоночки! Весело поедем, Акулина Спиридонна!» отпускал поводья. И коляска неспешно катилась по немощёным и кривоколенным посадским улочкам.

Была Акулька немолодой уже девушкой, длинной и сухой как вяленая рыба. Смуглое лицо её всегда оставалось бледным, даже в минуты сильного душевного трепета не окрашивались впалые щёки её румянцем, ни кровинки не проглядывало на них. Глаза, посаженные глубоко, смотрели как бы из двух неглубоких корзин и всегда тревожно поблёскивали, выражая какое-то бессмысленное беспокойство, точно Акулька

ожидала, что вот-вот должно случиться что-то необыкновенное. А что именно — так кто ж его знает! Особенностью бойкой и расторопной Акульки, тем, что выделяло её из ряда подобных же мещанок, была наклонность ко всему мистическому, так что могло показаться, что живёт Акулька в каком-то особенном мире, населённом сверхъестественными существами. Кругом неё крутились домовые, колдуны увивались неотступно, в каждой почти бабе видела она ведьму и могла представить тому доказательства неопровержимые.

По части демонологии Акулька слыла не просто непревзойдённым на всём посаде знатоком, но и отменным рассказчиком. И нередко стращала товарок да и саму хозяйку россказнями о нечистых духах, ведьмах или, по выражению самой же Акульки, «чернознайках». Как только заходила, бывало, речь о сватовстве или свадьбе, как уж билась об заклад Акулька, что жениха невеста присушила, что дело это немудрёное и что стоит только корень травы пересьяки положить под матицу в чужом доме и произнести заклинание, как хозяин дома на другой

же день зашлёт сватов. «Как трава сия будет сохнуть во веки веков, — зловещим голосом передавала Акулька заклинание, и некоторые из слушательниц ловили каждое её слово, — так чтоб и он, раб Божий, по мне, рабе Божией, сохнул душой и телом и тридесятью суставами».

— А ежели какая баба или девка корень травы пересьяки при себе носит, так по ней все иссохнут. А который ей надобен — пуще других. Потому что корень травы пересьяки...

— Глупости ты всё говоришь, — бывало, перебивала её хозяйка, Марфа Гавриловна. — Да и нет вовсе такой травы — «пересьяки»...

— Ну вот тебе — «нет»! — басовито ворчала в ответ Акулька. — Уж если и пересьяки нет, то чего там...

И махала всякий раз рукой на хозяйку.

— А то ещё есть симтарима-трава, — сообщала она в другой раз. И глаза её так беспокойно начинали поблёскивать, что Марфа Гавриловна иной раз задумывалась, уж не ворожит ли сама Акулька.

— А у той травы, сказывают, — продолжала тем временем Акулька, — не простой

корень, а человек-корень. И как вынешь у того корня сердце и, истёрши, накрошишь его в питие, то желанный твой, выпимши, зачнёт по тебе сохнуть...

— Что же ты, всё знаешь, а никого себе не приворожила? — посмеивалась Марфа Гавриловна. Но не оттого, что было смешно, а чтобы ободрить самоё себя и разогнать наведённый Акулькой морок.

— Я что — ведьма — привораживать, — злилась Акулька. — Да и на что мне?..

— Да и врёшь ты, матушка, — вздыхала Марфа Гавриловна. — Нет такой травы...

— Уж и симтаримы-травы нет! — всплёскивала руками Акулька в величайшем негодовании. А затем, глядя куда-то в пол и непонятно к кому обращаясь, заводила такую речь:

— Что ж это?.. Пересьяки-травы, положим, нет. Симтаримы-травы тоже нет. Что же тогда есть?

— Ну... ромашка есть, — отвечала Марфа Гавриловна, — девясил...

Но тут Акулька поднимала глаза и с таким презрением смотрела на свою хозяйку, что становилось совершенно очевидно: ромашка и девясил против симтаримы и

пересьяки казались Акульке тем же, что и какая-нибудь курица-пеструшка против жар-птицы.

Но самое удивительное заключалось в том, что рассказы её нет-нет да и оказывались сопричастными действительной жизни. Кстати, и о Настасье, жене Вахромея Дирина, подозреваемого до поры в убийстве архангелогородского мещанина Вешнякова, Акулька задолго до того отзывалась как о ведьме.

— Эта Настасья — ведьма лютая, — качала она головой. Тут как-то иду мимо их двора, смотрю — сидит в виде сорочине на рябиновой ветке, вот прямо, что у калитки у них растёт. Да не одна!.. Должно, с дюжину их расселось и трещат!

— Послушать только тебя, так всюду нечистая сила! Что же ты, сорок не видала? — сердилась Марфа Гавриловна.

— Да уж коли сороки в одном месте соберутся и чтоб не ведьмы.., — горько усмехалась Акулька.

И ведь как в воду глядела!

Говорили, будто от самого Вахромея Дирина и пошёл этот рассказ. Что будто бы

заприметил он, как встанет в глухую полночь жена его с постели, достанет из-за кивота пучок какой-то сухой травы и положит на свою подушку. А там скинет сорочку и, нагая, простоволосая, метнётся к печке. Что же дальше бывало — долго не мог узнать Вахромей, потому что находил тут на него сон, тягостный и непробудный. Так что, когда поутру он просыпался, то находил жену свою одетой и прибранной.

— Ты чего это ночью металась по дому? — пробовал он подойти к ней с расспросами.

— Чего мне метаться? Я днём ужо так намечусь, что сплю — ровно убитая, — усмехалась Настасья.

— А траву сухую мне на подушку тоже, скажешь, не ты подкладывала?

— Ишь ты! — задорно подбоченивалась Настасья. — Ему околесина снится, а я потом виноватая!

Было время, и Вахромей верил, что видел жену свою во сне. Но однажды, когда никого не было дома, он, влекомый внезапно возникшим и неясным до конца побуждением, просунул руку за кивот и из-за иконы святителя Пантелеймона достал пук

сухой травы. Как показалось Вахромею, это были цветы, что первыми появляются из-под снега — крупные лиловые колокольчики на коротких стеблях с узкими листками. Тонкий пучок был перетянут одним из стеблей. Не раздумывая, он принёс со двора клок сенца и несколько сорванных цветков колокольчика, перетянул какой-то сухой травиной и отправил связку за икону Святителя. А первый пучок отправил в печь. Прошло сколько-то времени, и Вахромей начал забывать о подмененной им траве. Как вдруг однажды — дело было в середине лета — он проснулся среди ночи, оттого что рядом происходило какое-то движение. Он открыл глаза и увидел то, что не раз уже видел: жена его достала из-за кивота пучок травы, которую в темноте сложно было рассмотреть, и, оставив траву на подушке, скинула с себя сорочку и шмыгнула к печи. Вахромей услышал, как заслонка лязгнула негромко. Достав из печи горшок, она подняла руки и стала натирать их тем, что было в этом горшке. Томительный цветочный дух распространился в избе. Вахромей видел, что жена его, обтирая каким-то варевом

чуть светившееся в темноте белое тело, получает немалое удовольствие — она то смеялась тихим смехом, то постанывала чуть слышно. На него она не глядела и, воспользовавшись этим, Вахромей поднялся, подошёл, крадучись, к печи и заглянул в горшок, стоявший на припечье. Он успел разглядеть густую и тёмную кашу, как вдруг жена его обернулась. Чуть вздрогнув, она следом же рассмеялась беззвучно. Заглянув ей в глаза, Вахромей испугался: бесы и бесенята плясали в этих глазах, и самые языки адского пламени, казалось, прыгали в них, освещая бесовскую пляску. Вдруг она завертелась кубарем и... исчезла. А на припечье Вахромей увидел сороку, боком смотревшую на него насмешливо. Он, было, попытался схватить её, но птица упорхнула в самую печь. Вахромею показалось, что перо осталось у него в руках. Но вот уже это не перо, а сорочка, брошенная перед тем Настасьей на постель. Снова сон стал одолевать его, причём не сомневался он, что виной тому было зелье, оставленное Настасьей в горшке, и распространяющее цветочный дурман. Он прилёг, сжимая в руках сорочку жены, и проснулся,

когда солнце уже высоко стояло, давно ощупав лучами мутные окна и серые брёвна стен и подбираясь теперь к крышам домов.

— Каково почивалось? — насмешливо спросила Настасья, заметив, что он шевельнулся. Она, прибранная, полными белыми руками, видневшимися из-под засученных рукавов, раскатывала на столе тесто.

— Сон странный видел, — хмуро буркнул он, садясь.

— А как увидел, так и позабудь, — ухмыльнулась она. — Не тебе со снами тягаться...

С того самого дня, со слов самого же Вахромея, сделался он частым гостем Задерихи.

— То и дело дружкам на жену жалится, — уверяла всех Акулька. — Знал бы — не женился б на чернознайке. А теперь отпустит его ведьма — держи карман... Хорошо ещё, если свиньёй не обернёт или не иссушит.

Но ещё более удивительная история случилась с бургомистершей Полсноп, о которой Акулька не раз и непримиримо показывала: ведьма!

Случилось, что в доме бургомистра

Полснопа умер на исходе весны старший из двух племенников бургомистра, гостивших в ту пору у дядюшки. Ванюшка, двадцатилетний молодец, был полон сил, как вдруг все отметили, что щёки его, полные и румяные, утратили форму и цвет. Глаза потухли. Он слёг, и вскоре не успевшая начаться жизнь его оборвалась, как обрывается нить у нерадивой пряхи.

Чая разверзшейся перед ним Неизвестности, Ванюшка призвал священника. Явился приходской батюшка, древний как Мафусаил, с прозеленью в седой бороде, так что казалось, что борода его, да и сам он стали покрываться от времени плесенью. Но в то самое время, когда Ванюшка, желая продолжить дальнейший путь налегке и силясь для того освободиться от тяжёлого наследства, оставленного телом душе, рассказывал о чём-то старому священнику, к двери его комнаты припал правым ухом младший брат Степан. Исповедь Ванюшки, как говорили потом, он слышал от первого до последнего слова. И по смерти несчастного брата, не утерпев и не вынеся груза той небывальщины, которую довелось ему

услышать, и ничего похожего на которую он не слышал прежде, Степан рассказал о ней товарищу — Пете Самыгину. Петя был старшим сыном купца Порфирия Федотьевича Самыгина, на дворе которого, граничившего с бургомистерским двором, мальчики частенько играли в бабки. Пете, как и Степану, едва минуло тринадцать лет, и неудивительно, что, придавленный чудной вестью, Петя поспешил разделить эту ношу с кем-то ещё. И очень скоро многие узнали, что же произошло в доме бургомистра Полснопа, и почему умер во цвете лет его племянник Ванюшка.

А произошло вот что. Как-то совсем незадолго до смерти, накануне Юрьева дня, страшной воробьиной ночью Ванюшке не спалось. Не зная, чем занять себя и как спастись от бессонницы и навеянного непогодой беспокойства, он решил наведаться на кухню, где частенько засиживались слуги — кто за чашкой спитого чая, а кто и за каким-нибудь другим угощением. Подходя к кухне, он заметил свет и обрадовался возможности скрасить ночное одиночество. Но, приоткрыв дверь, он увидел совсем не

то, что ожидал. Вместо компании слуг за столом, у печи спиной к двери стояла дородная и крутобокая жена дяди – вуйка[1] Наталья. И черпая из ничем непримечательного горшка не то воду, не что-то там ещё, кропила себя. Потом вдруг схватила кочергу, прислонённую к печи, оторвалась от земли, зависла на мгновение в воздухе и следом, оседлав свою кочергу, вылетела в распахнутое устье печи.

Оторопевший Ванюшка перешагнул порог кухни и первым же делом направился к горшку. В горшке, действительно, была вода с какими-то мелкими тёмными хлопьями. Сам не зная, зачем, Ванюшка почерпнул этой воды и сделал то же, что делала вуйка Наталья – покропил всего себя. В тот же миг он испытал прилив неизъяснимого восторга, никогда ещё не испытанного им прежде. Стало легко, голова прояснела, и захотелось смеяться. Тело перестало вдруг тяготить, не напоминая о себе ни малейшим неприятным ощущением. Что-то как будто тянуло наверх. Ванюшка поддался этому чувству и понял, что ноги его не касаются

[1] Вуйка – жена брата матери.

пола. Тогда он, точно зная наверняка, что нужно делать, подхватил глиняный кувшин с остатками молока, уселся на него верхом, и кувшин, подняв целый вихрь окалины, вынес Ванюшку в трубу.

Перед ним распахнулось небо, бесконечное и волнующе-синее. О том, что оставалось внизу, он не думал, но смотрел вокруг себя с жадностью. Луна, полная и сытая, так что казалось, что ещё чуть-чуть, и она облизнётся, плыла рядом с ним. Целая волчья стая, ощетинивши загривки и задравши морды, пронеслась мимо. И Ванюшка видел, как горели, точно далёкие звёзды, их жёлтые глаза. Совсем юная красавица, летевшая на маленьком бочонке, голосом, звонким, как валдайский колокольчик, что продаются вместе с хомутами на Успенской ярмарке, крикнула в самое ухо:

— Куманё-ок!

И скрылась вскоре из виду. А смех её долго ещё звенел, несясь рядом с Ванюшкой. Наконец он понял почему-то, что надо снижаться, и что путешествие его окончено. Ему сделалось страшно, и тут только он посмотрел вниз. Река, отражавшая прибрежные

кусты, звёзды и Ванюшку верхом на кувшине, лежала неподвижно внизу. За рекой оставался диковинный город с золочёными башнями. Впереди показались холмы, перелетев за которые Ванюшка увидел лес. На опушке горели костры и, судя по доносившимся звукам музыки, замышлялось веселье. Кувшин стал снижаться, и вскоре Ванюшка, ощутив стопами твердь, оказался в тени огромного дуба, раскинувшего кривые ветви, словно обозначая границу между опушкой и лесом. Укрывшись за дубом, он стал оглядывать поляну.

Костры горели тут и там. Музыка рвалась и билась где-то совсем рядом. Ванюшка поднял голову и увидел музыкантов. Какие-то чёрные ликами расселись по дубовым ветвям и пиликали на небывалых ещё инструментах: один дул в суковатую палку, словно это была флейта, другой окостенелым, похожим на кошачий, хвостом водил, как по виолончели, по лошадиной черепушке, третий стучал, как в барабаны, в пустую тыкву. Ветви дуба под ними шевелились, словно предвкушая кромешные видения. И видения не заставили себя ждать. На глазах у Ванюшки

разворачивалась неистовая, откровенная и в откровенности своей жуткая пляска. Нагие и простоволосые ведьмы кружились на поляне, и от их визга и хохота леденела кровь. Попадались среди них и мужчины, одетые в рубахи, но все одинаково распоясанные и беспорточные. Среди плясуний были молодые красавицы, чьи груди походили на наливные яблоки, были и сморщенные старухи, чьи груди более напоминали сушёные груши. Но и те, и другие скакали и взвизгивали с одинаковым задором.

— Эй, куманё-ок! — услышал Ванюшка позади себя голос, звонкий и чистый как валдайский колокольчик.

Он обернулся. Рядом с ним, зацепившись рукой за тонкий берёзовый ствол, стояла, вся изогнувшись, та юная красавица, что прилетела сюда на маленьком бочонке. Она так улыбалась, что Ванюшке стало неловко от её улыбки.

— Нешто позабыл штаны дома оставить? — смеялась она. — Э-э-э! Да ты, куманёк, не из наших! Ты, я вижу...

Но другой голос, властный и очень знакомый перебил её:

— А ну, пошла прочь!..

И звонкоголосая красавица исчезла. Зато перед Ванюшкой предстала вуйка Наталья, как и все — нагая и простоволосая. Ванюшка зажмурился.

— Да ты как здесь?! — удивилась она. — Узнают наши — задушат тебя! Ступай отсюда немедленно, убирайся! Чтобы духу твоего здесь не было сей же час!

С этими словами она подобрала с земли короткий кривой сучок с одним-единственным дубовым листком и бросила этот сучок Ванюшке под ноги. Тут же вместо сучка явилась коляска вроде тех, что тащатся по посадским улицам за разномастными и безразличными ко всему лошадьми. Он сел в коляску, и она взвилась, как прежде кувшин, и понесла его над лесом, над рекой, над диковинным городом. А рядом с собой Ванюшка услышал смех, как будто колокольчик, вторя бешеной скачке лихих коней, разливался под дугой неумолчными трелями, одновременно сладкими и тревожными. Юная ведьма припала к нему, накрепко обвив шею руками. Говорила ли она, шептала ли что-то в самое ухо, смеялась

ли — Ванюшке слышался лишь колокольчик. Он знал, что должен как-то стряхнуть её, но ему недоставало сил. Томительное оцепенение, похожее на забытье, овладело им. Ванюшка уже не понимал, спит ли он или видит всё наяву. Он слышал несмолкаемый звон колокольчика, видел, как другая ведьма в белом саване собирала звёзды в подол, как лунный свет струился вниз белым потоком, и в этом потоке, как в молоке, купались нагие красавицы. «Вот отчего кожа у них светится», — думал Ванюшка. А колокольчик всё звенел, и под его переливы уходила по капле из Ванюшки сила. Но было это приятно.

Наутро проснулся он на заднем дворе, сжимая в руке короткий кривой сучок с одним-единственным дубовым листком. Так бы никто и не узнал, отчего с того самого дня Ванюшка стал чахнуть, если бы младший брат его не подслушал этот рассказ, переданный Ванюшкой старенькому священнику.

— Всё оттого, что Бога забыли, — вздыхала Акулька, и все до единой слушательницы соглашались с ней, так же вздыхая. — Ведь стоило бы ему только вспомнить Божие

имя, как вся бы нечисть пошла прахом!

Но все эти истории о сороках и кувшинах показались сущими пустяками, в сравнении с рассказом, что поведала Акулька Марфе Гавриловне в самый день ареста Фомушки.

Случилось раз мещанину Стрелецкой слободы Кафтанникову Никодиму Феоктистовичу, возвращаться домой из Москвы, где он, на зависть прочим посадским мещанам, а то и купцам, держал на Садовой улице буфет с крепкими напитками. Время от времени Никодиму Феоктистовичу приходилось отлучаться в Москву, дабы осуществлять личный надзор за делами, творящимися в буфете. И несмотря на хлопоты, Никодим Феоктистович и не думал жаловаться — сама мысль о том, что из посадских мещан никто более и помыслить не дерзал о собственном деле в столице, придавала ему сил и подавала утешение. К тому же был мещанин Кафтанников не стар, хорош собой и, полгода не прошло, как женат на старшей дочери лучшего посадского игрушечника Хлюстова. А Варвара Хлюстова имела всё, чтобы считаться самой завидной невестой — косу имела

толстую, грудь полную, фамилию знатную. Да и приданным Хлюстовы не обидели. Узнав, за кого её сватают, Варвара осталась довольна. И мысленно благодарила батюшку, что выбрал ей хорошего мужа. Словом, с самого первого дня в домике под разлапистыми клёнами на Трифоновской улице зажили Кафтанниковы преотлично.

В Москву Никодим Феоктистович отлучался обычно дней на пять. Да и то потому, что каким бы то ни было экипажам и линейкам предпочитал пеший путь, неизменно вспоминая при этом, что «угодники Божии всегда пешком ходили». К вечеру пятницы являлся Никодим Феоктистович домой, а уж в субботу можно было встретить его на Всенощной в Ильинском храме.

После дел в питейном пеший путь для Кафтанникова был столь же необходим, как для солдата баня. Чем дальше отходил Никодим Феоктистович от Москвы, тем крепче умилялся он душой. А уж когда, опьянев от лесного воздуха, от птичьего шума и благолепия, щедро разлитого кругом, запевал, бывало, тропарь, то и вовсе размякал. Подходя уже ввечеру к посаду и глядя, как древняя

обитель умывается, что ягодным соком, последними лучами, Никодим Кафтанников осенял себя крестом и говорил слёзно:

— Господи! Прости одичавшую мою душу!..

И не только усталости не знал он, добравшись до дома, но и, напротив, ощущал прилив сил и совершеннейшее умиротворение.

Как-то в начале лета, когда христианская душа радуется и наиболее располагается к восторгу, остановился Никодим Феоктистович в одном сельце, богатом, как и прочие придорожные сёла, трактирами и всяческими угощениями. Боясь совлечь с себя умиление, Никодим Феоктистович стерёгся трактиров. Тяготел он к тому, чтобы трапезовать на зелёной травке, купив пирогов и чаю у какой-нибудь старухи из тех, что вечно сидят по сёлам вдоль дорог с кипящими самоварами.

Возлёг Никодим Феоктистович и возрадовался: что за жизнь у него — только Бога благодарить! Кругом зелено-духмяно, птички разливаются, бабочки трепещут, дома жена молодая ждёт. Обернулся Никодим Феоктистович и пуще прежнего

возрадовался: сельцо хорошее, дома добротные, улица метёная. Церковь Божия нарядная, златоглавая — Богу во славу, солнышку на забаву, добрым людям в утешение. Лошадушка рядом пасётся — чистая, беленькая, ровно сахарная. Тут, правда, сморгнул Никодим Феоктистович и видит, что лошадушки-то никакой нет, а стоит рядом с ним старичок. Маленький такой, чистенький, одетый и впрямь во всё белое. Волосы белые, да и бородка, что в молоке омоченная.

— Здравствуй, — говорит, — Никодимушка!

Никодим Феоктистович ещё поморгал и ответил:

— И ты здравствуй, дедушко. Садись, сделай милость.

Потом спросил:

— А ты почём меня знаешь?

— Да разве не ты с месяц назад ночевал в моей бане?

И Никодим Феоктистович припомнил, что ещё по весне, застигнутый непогодой, попросился он в крайний дом схорониться от бури. Вышел тогда к нему хозяйский сын, вынес молока с хлебом и отвёл в баню,

где Никодим Феоктистович провёл ночь на полке. Глядя оттуда на грозу сквозь маленькое банное оконце, Никодим Феоктистович крестился и размышлял о Божием величии. А наутро, чуть свет, поднялся с полка и отбыл восвояси. А перед тем, со словами «вам на строеньице, нам на здоровьице», оставил хозяевам рубль серебром. Никодим Феоктистович не был жадным.

Только тогда он хозяина не видел. А он — вот он какой, хозяюшко — беленький старичок.

— Ты, я чай, Никодимушка, домой спешишь? — спросил белый старичок ласково.

И не успел Никодим Феоктистович ответить, как уж он продолжал:

— А ты не спеши, Никодимушка! Пойдём ко мне в баню. Я тебе такое покажу, чего ты не видывал.

И так он это сказал, что поднялся Никодим Феоктистович с зелёной травки и пошёл за белым старичком.

И стал белый старичок парить Никодима Феоктистовича, хвостать пушистым веником да приговаривать:

— В поле, в покате, в каменной палате сидит молодец, играет в щелкунец, всех перебил и царю не спустил...

А после подвёл его к бочке с горячей водой и велел окунуться. И вот сидит Никодим Феоктистович в бочке, одна голова на поверхности плавает. Сомлел он от жара — и думать ни о чём не может. Только тут белый старичок снял со стены осколок запотевшего зеркала, отёр его веником и протянул Никодиму Феоктистовичу.

— Ты, — говорит, — Никодимушка, возьми это стёклышко, окунись с головой и глянь — может, чего в нём увидишь.

Взял Никодим Феоктистович тот засиженный осколок и ушёл с ним под воду — только плеск раздался да побежали пузыри поверху. Смотрит он в зеркало и видит, что глаза у него выкатились, щёки надулись, волосы, что водоросли извиваются. И тут точно проснулся Никодим Феоктистович, а в голове у него пронеслось: «Ах ты, старый хрыч! Смеяться надо мной вздумал? Ужо я тебя...» Только тут зеркало замутилось, и стала проступать в нём другая картина. И видит Никодим Феоктистович улицу,

словно сам по ней идёт. Видит ограду, за оградой — развесистые клёны, а под клёнами — свой собственный дом. И вот будто бы входит Никодим Феоктистович в дом и идёт по комнатам. Вот столовая, где стол всегда покрыт скатертью с голубыми кистями, где в кадушке сидит неизвестное никому дерево с огромными, как тарелки, листьями, а в двух клетках под потолком поют кенари — Никодим Феоктистович любил птичек. Вот коридор с цветными стёклами в среднем окне и скрипучей третьей половицей. Правда, скрипа Никодим Феоктистович не услышал, а только припомнил. А вот дверь в собственную Никодима Феоктистовича опочивальню. А в опочивальне жена его Варвара обнимает какого-то чёрта! Глаза чёрные блестят, губы красные, точно крови насосался — чисто упырь!

Но тут не выдержал Никодим Феоктистович и, не в силах больше задерживать дыхание, поднялся из воды.

— Ну что они там, Никодимушка? — спросил с полка белый старичок.

— Обнимает его, — еле выговорил Никодим Феоктистович.

— А ты ещё погляди. Погляди, Никодимушка!

Снова ушёл под воду Никодим Феоктистович. Смотрит перед собой в зеркало и видит: упырь к стене какую-то штуку прилаживает. Потом отошёл и Варваре на стену показывает, говорит что-то. Варвара побледнела, губы поджала, но кивает. Пригляделся Никодим Феоктистович, а на стене-то — он сам-друг висит! Только маленький — не больше пяди — да из воску.

Поднялся Никодим Феоктистович из воды, а старичка уж и нет на полке.

— Это они, Никодимушка, извести тебя собираются, — оглянулся Никодим Феоктистович, а старичок сидит на каменке, точно она не горячая. Сидит — и не обжигается.

— Да ты ещё погляди!

И в третий раз ушёл под воду Никодим Феоктистович. А упырь уж достал откуда-то лук со стрелой, встал против восковой фигуры, тетиву натянул и... И не выдержал Никодим Феоктистович, зажмурил глаза со страху. Но в тот же миг открыл их, подначиваемый любопытством.

Упырь лежал на полу, шея его была пробита стрелой, из раны кровь струилась на пол и затекала под тот кованый железом сундук, в котором Варвара держала перину из приданого. Теперь же Варваре было не до перины — стоя перед мертвецом на коленях, она держала его голову и прижималась ко лбу мокрой щекой. Лицо её исказилось от плача, и впервые она показалась Никодиму Феоктистовичу некрасивой. Но тут глаза его стало заволакивать какой-то плёнкой, и он вынырнул из бочки.

Сердце его, казалось, стучало в самых висках, он захлёбывался воздухом, вода, уже порядком остывшая, сжимала грудь.

Старичок стоял рядом и держал в руках кусок холстины.

— На-ко, Никодимушка, утрись. Теперя — всё.

А когда Никодим Феоктистович отдышался, старичок добавил:

— Она его под порогом... того.

— Да ты кто, дедушко, будешь? — спросил в ответ Никодим Феоктистович, раздумывая, как ему относиться к произошедшему.

— Я-то? — ухмыльнулся старичок. — А я чего? Я тут в бане, за каменкой живу.

Когда явился наконец домой Никодим Феоктистович под развесистые клёны, Варвара так ласково приняла его, что он разозлился на себя и подумал, что зря позволил старику смеяться. Тут припомнилось Никодиму Феоктистовичу его собственное лицо, виденное в зеркале, когда, перехватив дыхание, сидел он в бочке. И Никодим Феоктистович почувствовал, что краска приливает к его щекам. Но к ночи опять взяли его сомнения. И на другой день, когда Варвара была на дворе, он заперся в спальне и сдвинул сундук с периной. На том месте, где стоял сундук, среди вороха розоватой пыли увидел он тёмное запёкшееся пятно, прибившее собой и склеившее пыль.

— Вот тогда окончательно открылись его глаза, — уверяла Акулька Марфу Гавриловну, кухарку Марию и Феклушу — девушку, помогавшую в доме. — Не желаю, говорит, больше ни перед кем быть посмешищем. И послал за Хлюстовыми.

— Ерунда какая-то! — пожимала плечами Марфа Гавриловна.

Но ни Мария, ни Феклуша, ни уж тем более Акулька не разделили её нигилизма.

— Что же Хлюстовы? — пискнула Феклуша.

— Хлюстовы! — усмехалась Акулька. — Будто не знаете Хлюстовых! Собрался их полон дом — тётки, вуйки, свояченицы — одни бабы, да не разберёшь, кто кому кем доводится! Набились, галдят... Но Никодим Феоктистович своё дело знает. Выстроил их перед крыльцом и на глазах повелел порог вскрыть. А там, под порогом — лежит!.. Прости, Господи! И поминать-то срам!.. А на груди под ручками — тот образ восковый, в который они из лука целили. Не то спрятать его Варвара хотела, а не то и с умыслом — уноси, дескать, с собой муженька постылого!

— А что там Матрёна-то Хлюстова, — встряла Мария, — она завсегда такая боязливая была...

— Да тут не только Матрёна!.. — обрадовалась чему-то Акулька. — Всё бабьё это хлюстовское — и ну визжать! Да врассыпную! Только Никодим Феоктистович своё дело знает, собрал их всех и на покойника указывает. Вот, говорит, забирайте свою барышню вместе с перинами. И полюбовника её

забирайте из-под моего порога. А мне с ним недосуг возиться. И рассказал им Никодим Феоктистович, как Варвара с колдуном-полюбовником извести его собирались. И про старичка, и про зеркальце тоже рассказал. Только, говорит, ихние чары разрушились и против них же и обернулись.

— А Хлюстовы-то что? — пискнула Феклуша.

— Хлюстовы! Да Хлюстовы твои — бесстыдники! — обрушилась на Феклушу Акулька. — Ещё и пререкаться вздумали — ты сам мол злодей, с колдунами якшаешься, а на Варвару спихнуть хочешь. Только Никодим Феоктистович своё дело знает, я, говорит, вам по добру-по здорову предлагаю разойтись. А если вы добром не хотите, то будет вам и лимонный сок, и шоколаду кусок, и суды, и следствия. Тут наконец унялись они. Забрали мертвеца, Варьку с перинами и съехали...

— Где только ты нахватаешься этакой дичи! — возмущалась Марфа Гавриловна. — Просто неслыханная глупость — мертвец под порогом! Я даже готова поверить в привороты. Но это... Совершенная дичь!

— Да вам бы всё дичь! — сердилась и Акулька. — Вся площадь сегодня гудит, что Варьку Хлюстову отец домой забрал. А вы — дичь... Нет! Так им и надо, Хлюстовым, — прибавляла она, грозя пальцем, не поднимая вверх руки. — Гордые стали, сквозь людей смотрят. За то им Бог позору и послал. Опозорила их Варька-колодница, накрепко опозорила!

Марфа Гавриловна, видя, что переубедить Акульку невозможно, оставляла всякие споры. Понятно, что Марфа Гавриловна, не верившая даже траве пересьяке и траве симтариме, никак не могла поверить и этой, в высшей степени странной истории. Несмотря даже на то, что Варвара Хлюстова действительно съехала от мужа к отцу, о чём немедленно стало известно во всех слободах. И то, что весьма странное это происшествие объясняли не иначе, как той самой историей, о которой поведала Марфе Гавриловне Акулька. И долго ещё рассказывали в слободах, как баенник[1] от лютой смерти мещанина Кафтанникова спас. Да впрочем, мало ли, о чём толкуют в слободах.

[1] Баенник — в славянской мифологии дух, обитающий в бане.

Чего только не бывало в городе! Каких чудес не насмотрелись посадские люди! Но проходила ночь, наступал день, и снова шумела ярмарка, снова гудел монастырский колокол, и паломники неиссякаемой рекой текли к Святым вратам.

Понятно, почему другие города и местечки, лишь только прознав об очередной произошедшей в посаде истории, торопились приписать её себе, утверждая, что это на их стогнах случались чудеса и кипели страсти. Но не желание славы и не стремление попасть на страницы газет и журналов здесь причиной. Просто настолько всем понятны и близки оказывались посадские сказки, что казалось, будто происходили они где-то поблизости, с приятелем или соседом. Каждый город может похвастаться своей Христиной или своим Фомушкой, всюду найдётся и свой Модест Шокотов, да и Акулину Запаскову где только не встретишь! Таковы уже люди.

По сей день помнят в посаде и купцов Хохтевых, и мещанина Кафтанникова, что держал питейное в Москве на Садовой улице. И много о чём ещё помнят

в посадских слободах, богатых на разного рода события.

И сейчас ещё можно видеть хохтевский дом с крыльцом и колоннами, сохранились и клёны на Трифоновской улице. Да если только нарочно приехать, в том ведь несложно будет и убедиться!

Содержание

ПОСАДСКИЕ СКАЗКИ 3
Сказка о трёх сундуках 6
Сказка о мёртвом теле 57
Сказка о чудесном зеркале 94

Светлана Георгиевна Замлелова

ПОСАДСКИЕ СКАЗКИ

Редактор *О. С. Камрыш*
Оформление и вёрстка *Р. А. Водениной*
Корректор *Н. Г. Алексеев*

Отпечатано в цифровой типографии «Буки Веди»
на оборудовании Konica Minolta.
ООО «Ваш полиграфический партнер»,
127238, Москва,
ул. Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6.
Тел.: (495) 926-63-96, www.bukivedi.com,
info@bukivedi.com
Заказ № 3840.

Подписано в печать 02.10.2012.
Формат 70x90/32.
Гарнитура LazurskiC. Усл. печ. л. 4,6.
Тираж 1000 экз.